

Библиотека журналу «Голос Эпохи»

Елена Семенова

# ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА

Том II



Елена Семёнова

**Претерпевшие до конца. Том 2**

«ЛитРес: Самиздат»

2013

## **Семёнова Е. В.**

Претерпевшие до конца. Том 2 / Е. В. Семёнова — «ЛитРес: Самиздат», 2013

XX век стал для России веком великих потерь и роковых подмен, веком тотального и продуманного физического и духовного геноцида русского народа. Роман «Претерпевшие до конца» является отражением Русской Трагедии в судьбах нескольких семей в период с 1918 по 50-е годы. Крестьяне, дворяне, интеллигенты, офицеры и духовенство – им придётся пройти все круги ада: Первую Мировую и Гражданскую войны, разруху и голод, террор и чистки, ссылки и лагеря... И в условиях нечеловеческих остаться Людьми, в среде торжествующей сатанинской силы остаться со Христом, верными до смерти. Роман основан на обширном документальном материале. Сквозной линией повествования является история Русской Церкви означенного периода – тема, до сих пор мало исследованная и замалчиваемая в ряде аспектов. «Претерпевшие до конца» являются косвенным продолжением известной трилогии автора «Честь никому!», с героями которой читатели встретятся на страницах этой книги.

## Содержание

МОЛОХ	5
Глава 1. Пролог	6
Глава 2. Поминки по утраченному	11
Глава 3. Мука	16
Глава 4. Игнат	19
Глава 5. В медвежьем углу	27
Глава 6. Бутырское сидение	38
Глава 7. Пасха в Большом Доме	45
Глава 8. Встреча	49
Глава 9.	54
Глава 10. Плач Рахили	65
Глава 11. Совесть	70
Глава 12. Сон наяву	75
Глава 13. Литератор Дир	81
Конец ознакомительного фрагмента.	84

# **МОЛОХ**

## Глава 1. Пролог

Серые существа, похожие на людей, с кувалдами и ломami, они стекаются дружными колоннами с разных сторон. Они оживлены и радостны, они предвкушают торжественный миг. И новогодний мороз несколько не остужает их задора...

Что нужно им? Зачем стекаются они сюда? Прежде стекались в эти дни ко вратам древней обители богомольцы. На Рождество столь много бывало их, что полным-полны стояли древние храмы, и от этого особенно торжественной становилась служба.

В погожие летние дни также стекались горожане на живописный москварецкий берег – гуляли под сенью величавых стен.

Но нынешние пришельцы несколько не походили на прежних людей, будто другого племени были они, племени, ещё не достигшего высоты эволюции, замершего на полпути. У прежних людей никогда не бывало таких огрубелых, словно высеченных наспех из камня лиц, таких пугающе пустых глаз, таких тяжёлых взглядов... Зачем же пришли они? Для чего понадвинулись стаей, ошестинившись ломami и лопатами? На какого неведомого врага вооружились?

Замер монастырь, не понимая, что же творит людской муравейник у его гордых башен, у неприступных стен, переживших на своём веку войны и разрухи, пожары и бедствия. Замер, не веря надвигающейся грозе. И трудно было поверить ей 560-летней обители! В середине четырнадцатого века Преподобный Сергей благословил своего племянника Феодора, духовника князя Дмитрия Донского, «поставить монастырь на Москве, зовомое от древних Симоново на реке на Москве». И, вот, на высоком левом берегу Москвы-реки, среди лугов и лесов стала подниматься новая обитель. Именно в её ограде суждено было упокоиться славным останкам Пересвета и Осляби.

Десятилетия спустя в Симонове был воздвигнут великолепный Успенский собор. В монастыре начинали свой подвиг иноки Кирилл и Ферапонт, позже основавшие знаменитые Кирилло-Белозёрский и Ферапонтов монастыри.

В XVII веке Симонов, ставший богатейшей обителью Москвы, превратился в настоящую крепость, благодаря выстроенным Фёдором Конём высоким стенам и уникальным башням. Самая крупная из них, «Дуло», многогранная, с накладными лопатками, с рядами бойниц и шатровым завершением, в веке XIX стала излюбленной смотровой площадкой Лермонтова...

Век за веком рос монастырь, сохраняя в себе отпечатки русской истории, становясь всё прекраснее. В 1593 году над западными воротами была возведена церковь в честь Спаса Преображения в память успешного отражения нападения крымских орд под главенством хана Казы-Гирея. В конце XVII столетия зодчие Парфен Петров и Осип Старцев выстроили одно из самых замечательных произведений русского зодчества – здание трапезной палаты, к которой пристроили жилые палаты для царя Федора Алексеевича, любившего бывать в этом монастыре и подолгу жившего в нем.

Наконец в XIX веке архитектор Тон возвёл огромную, высотой в сорок четыре сажени, колокольню, не имевшую равных в Первопрестольной.

Редкий монастырь мог состязаться великолепием с веками слагавшимся ансамблем Симонова. Это чудо русского зодчества было одной из главных жемчужин Москвы. Но для чёрных глаз новых властителей России не было ничего нестерпимее, нежели свет этой красоты, самим существованием своим свидетельствующей о начале божественном... И врагом, на которого стягивались серые орды, был не какой-нибудь лихой супостат, а монастырские стены и храмы, безмолвно ожидающие своей участи и всё ещё надеющиеся на проблеск разума в обезумевших людях.

Но куда там! Ведь неделя за неделей неистовствовали газеты, науськивая серое племя: только одно и мешает установлению для вас земного рая – очаг мракобесия среди обступивших его заводов! Уничтожить его, и возвести на расчищенном месте дворец культуры при заводе имени товарища Сталина! И тогда свет культурной жизни прольётся на вас!

И уверовало серое племя, которому столь мало нужно было, чтобы – уверовать, которому довольно было лишь указать врага, чтобы оно бросилось яростно истреблять его, пролагая путь в «светлое будущее». «Построим на месте очага мракобесия очаг пролетарской культуры!» – под таким лозунгом шагает племя: разрушать...

К разрушению звали с Семнадцатого года. «Мы до сих пор не можем победить египетские пирамиды. Багаж древности в каждом торчит, как заноза древней мудрости, и забота о его целостности – трата времени и смешна тому, кто в вихре ветров плывет за облаками в синем абажуре неба... ..Нужен ли Рубенс или пирамида Хеопса? Нужна ли блудливая Венера пилоту в выси нашего нового познания?... ..Нужны ли старые слепки глиняных городов, подпертых костылями греческих колонок?... ..Ничего не нужно современности, кроме того, что ей принадлежит, а ей принадлежит только то, что вырастает на ее плечах... ..Современность изобрела крематории для мертвых, а каждый мертвый живет даже гениально написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем один грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысяча кладбищ. Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить сжечь все эпохи как мертвое и устроить одну аптеку. Цель будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства... ..И наша современность должна иметь лозунг: «Все, что сделано нами, сделано для крематория»... ..Скорее можно пожалеть о сорвавшейся гайке, нежели о разрушившемся Василии Блаженном. Стоит ли заботиться о мертвом? Всякое собирание старья приносит вред. Я уверен, что если бы был своевременно уничтожен русский стиль, то вместо выстроенной богадельни Казанского вокзала возникла бы действительно современная постройка», – так витийствовал ещё в Девятнадцатом глава художественного отдела Моссовета Казимир Малевич.

И мечты его воплощались в жизнь. Сперва нерешительно, непоследовательно. При Наркомпросе были собраны лучшие специалисты в области искусства, дабы выявить и поставить на учёт памятники старины, обеспечить их дальнейшее существование. Отбираемые у церкви монастыри и храмы переводились в разряд музеев. Так, в Симонове был открыт музей русской воинской славы с богатейшей коллекцией древнего оружия.

Забота об историко-культурном наследии легла, в первую очередь, на плечи искусствоведов и реставраторов, не жалевших сил для спасения вверенного им бесценного достояния. Двенадцать лет длилась изматывающая борьба... ..И был краткий миг, в который показалось, что здравомыслие всё-таки возьмёт верх. Но уже в двадцать шестом году эта робкая надежда погасла. В тот год Президиум Моссовета постановил: «Предложить всем отделам Московского Совета препятствовать изысканию новых памятников старины». И с двадцать седьмого пока ещё медленно, раскачиваясь, началось наступление. Первой мишенью для удара выбрали изящные Красные ворота, возведенные при императрице Елизавете по проекту архитектора Ухтомского. Газеты подняли шум, якобы мешают они трамвайному движению. Само собой, защитники старины отчаянно доказывали необходимость сберечь памятник, но варвар одержал победу...

Ещё год спустя волна начала подниматься и в провинции. В Центральных государственных реставрационных мастерских не успевали разбирать заявки властей разного уровня на снос десятков храмов: из Суздаля и Кашина, Ростова и Кинешмы, Муромы и Соликамска, Переславля и Великого Устюга, Калязина, Юрьева-Польского, Ярославля, Владимира, Костромы...

Гибла, гибла безвозвратно русская культура! Одолевал враг, по печальному выражению Пришвина. И ни искры жалости не пробивалось к созданию гения человеческого, к красоте.

Племя коммунистов, кажется, было вовсе чуждо чувству красоты. Случается, что люди рождаются калеками – без слуха, без зрения, без руки... Без ума, наконец. У племени коммунистов отсутствовало чувство красоты, и это увечье объединяло их в новую, ранее невиданную общность...

Страшен был вид этих не знающих красоты людей. Особенно для человека, вслед Достоевскому веровавшему, что именно она спасёт мир, и оттого, однажды познав её всей душой, посвятившего всего себя её спасению.

Много лет назад двенадцатилетний сын безземельного крестьянина-ремесленника увидел шатровый деревянный храм, подобно древней ели устремлённый к небу. Храм так поразил мальчика, что он добился у местного священника разрешения провести обмеры храма, чтобы открыть для себя секреты старых мастеров.

А тремя годами позже состоялась первая встреча его с творением зодчего, который навсегда станет для него самым любимым – Болдинским монастырём Фёдора Коня... Дух захватило оттого, что купола шатровой Введенской церкви вздымались выше сосновых куп! И не мог охватить разум, как в этой крохотной деревеньке люди подняли такие громады камня под небеса и придали им красоту?.. Красота и тайна, наполнявшая её, завораживали юношу.

С зарисовками этих двух храмов юный Пётр Барановский явился в Московское строительное-техническое училище. Когда в Московском археологическом обществе, объединившем любителей старины, он показал свои эскизы, ученые мужи ахнули и написали юноше поручительную бумагу с тем, чтобы он смог произвести в полном объеме обмеры болдинских древних сооружений. За произведённые работы, доклад и свой первый проект реставрации Барановский получил от общества премию в четыреста рублей пятирублевыми золотыми монетами.

Так началось служение красоте. Свою работу Пётр Дмитриевич сравнивал с работой доктора. Не врача, просто лечащего тело, а именно доктора, умеющего понять душевное состояние пациента, выявить глубинную причину болезни. Для Барановского памятник никогда не был просто камнем или деревом, но живым, одушевлённым существом, которое он чувствовал. Это глубокое чутьё, помноженное на исключительную эрудицию, память, трудолюбие, сделало его новатором в реставрационном деле. Его методы реставрации не имели аналогов.

Врачевание требует чистоты: как на объекте реставрации, так и рядом с ним. А ещё – в человеческих отношениях. Никакой брани, никакого панибратства, уважение к человеческой личности, к своему делу и к воссоздаваемому шедевру – подходя к работе с такой меркой, он обращал её в священнодействие.

Чем сильнее был разрушен памятник, тем дороже был Петру Дмитриевичу, подобно тому, как матери из всех детей бывает наиболее дорог самый слабый и болезненный. И тем больше было созерцать по пришествии «новой эры», как беспощадно уничтожается то, что было так дорого его сердцу.

Археологический институт он окончил уже после революции, вернувшись с фронта в чине подпоручика инженерных войск. И сразу по защите диссертации представилось труднейшее и важнейшее дело – восстановление разорённого при подавлении перхуровского восстания Ярославля. Ровно девять лет потребовалось, чтобы воссоздать разрушенные большевистской артиллерией памятники. Реставрируя их, Барановский успел исследовать, обмерить, зафиксировать в фотографиях, частично отреставрировать или выполнить проекты восстановления памятников деревянного зодчества в Угличе, Ростове Великом, Мологе...

Предчувствуя нависшую над памятниками угрозу, Пётр Дмитриевич спешил составить подробные обмеры и описания их, дабы по ним потомки смогли бы воссоздать утраченную красоту.

Едва работы в Ярославле были налажены, Барановский поспешил в Болдино и приступил к восстановлению любимого с отроческих лет монастыря. В те же годы он исследовал московские памятники, участвовал в Северодвинской экспедиции Грабаря, посещая в ходе неё почти

все города и веси по беломорскому берегу и берегам Северной Двины от устья до верховий. После этого путешествия Пётр Дмитриевич добился разрешения на создание музея архитектуры под открытым небом в Коломенском, куда стал бережно перевозить памятники деревянного зодчества русского севера.

Занимаясь реставрацией Коломенского, Барановский провёл обследование памятников близлежащих уездов Московской губернии, откуда на свои средства перевёз в создаваемый музей многие экспонаты.

В двадцать третьем году Пётр Дмитриевич был срочно командирован Грабарём в Новгород – для спасения ещё не изъятых церковных ценностей. По возвращении из Новгородской экспедиции он составил для Совнаркома записку с предложением о создании музеев на базе закрываемых монастырей: в ту пору это было единственным шансом спасти их. Идею было позволено воплощать в жизнь, и Барановский развернул кипучую деятельность, один лишь географический размах которой поражал воображение многих: Ярославль и Боровск, Москва и Юрьев-Польский, Александров и Калуга, Соловки и Пинега, Шуя и Кижи, Углич и Дорогобуж – всюду дотянулась заботливая рука доктора-реставратора.

До последнего года ещё удавалось противостоять беспощадному натиску варваризации. Но к концу Двадцать девятого начался доселе невиданный обвал, грозящий смести на своём пути всё. В считанные недели случились события, каждое из которых без преувеличения было трагедией.

Власти разгромили Болдинский музей, арестовав его директора Бузанова. При разгроме оказалась частично утрачена музейная коллекция и большинство фотографий, сделанных внуком историка Михаила Погодина, нанятым Барановским для документирования музея. Вскоре после этого фотограф был «вычищен» как «классово чуждый».

Начиная с 1925 года, Пётр Дмитриевич вел реставрацию Казанского собора на Красной площади, последнего шедевра Фёдора Коня, выстроенного по почину и на средства Дмитрия Пожарского и ставшего главным памятником войне 1612 года. И вдруг остановили работы, и разразился Моссовет решением: снести Казанский собор и Воскресенские (Иверские) ворота с часовней...

Целая делегация профессоров и академиков во главе с Грабарём и Щусевым, придя к Кагановичу, доказывали, что подобное варварство нельзя оправдать, что обречённые сносу памятники обладают исключительными эстетическими достоинствами.

– А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь, – безапелляционно парировал Лазарь Моисеевич.

Защитникам старины уже не позволялось протестовать. Объявленные печатью «вредителями», они вынуждены были умолкнуть и в ужасе созерцать невиданный в истории по масштабам акт вандализма.

На пороге нового года по новому стилю был уничтожен полутысячелетний Чудов монастырь... Власти понадобилось место для военной школы. Судьба святыни решалась столь спешно, что почти не осталось времени спасти хоть что-то. Перед сносом администрация Кремля вызвала художника Павла Корина для демонтажа наиболее ценных фресок, однако не дала ему завершить работу. Собор был уничтожен вместе с фресками. В самый последний момент Пётр Дмитриевич успел на себе вынести из него мощи святителя Алексия Московского...

Не успелось ещё прийти в себя от этой тяжелейшей для русской культуры утраты, как оглушила очередная чёрная весть: двенадцатого января в Люберцах под колёсами поезда погиб Дмитрий Дмитриевич Иванов, создатель Оружейной палаты, совсем недавно смещённый с должности. Сколько сил потратил этот человек на то, чтобы отстоять от продажи за границу музейные ценности! Но, вот, после недолгого затишья решено было возобновить эту практику. Музеям спустили жёсткие разрядки на сдачу ценностей в миллионы рублей золотом. Дмит-

рий Дмитриевич ещё пытался протестовать, доказывая: «Вред от утраты факторов культуры в особенности злополучен именно теперь, когда все силы должны быть направлены на индустриализацию. Не случайность, что некоторые из музеев Америки растут теперь больше, чем все музеи Европы, взятые вместе. Дело в том, что для индустриализации всякой страны кроме усовершенствования машины требуется в первую очередь усовершенствование человека». Но напрасно... Смещённый с должности, тяжело больной, измученный старик, полный тревоги за родных, он не нашёл иного исхода из создавшегося отчаянного положения...

Иванов погиб двенадцатого, а на другой день, в старостильный новый год, из созданного им музея состоялась крупнейшая выемка ценностей. И в этот же чёрный день должен был кануть в небытие Симонов...

Совсем недавно Петра Дмитриевича вызвали в Моссовет и попросили дать небольшой список наиболее ценных памятников архитектуры Москвы.

– Для чего он вам? – спросил Барановский.

– Начинаем реконструкцию столицы, хотим сохранить все уникальное.

Список был составлен из одиннадцати памятников архитектуры: Симонов монастырь, Сухарева башня, храм Василия Блаженного... На вопрос, какой из памятников, не считая Кремля, он поставил бы на первое место, Барановский, не задумываясь, ответил:

– Симонов монастырь. Равных ему в Москве нет...

Теперь стоя на пронизывающем ветру, но не чувствуя холода, Пётр Дмитриевич не сводил глаз с прекрасного ансамбля, точно вбирая в себя его чудный образ, запоминая каждую деталь и в то же время прощаясь.

Десятилетия требовались древним людям, чтобы воздвигнуть на диво всему человечеству величественные здания. В двадцатом веке человечество достигло вершины прогресса – возможности в считанные минуты обратить во прах эти плоды неустанных трудов своих пращуров.

Решительно ни одна страна мира, ни один народ, исключая разве что турок, не надругалась так над собственной историей и культурой. Варвары! Невозможно без содрогания было созерцать, как разводили они костры вокруг осаждённой крепости, пели революционные песни, отпускали похабные шутки – готовились к «работе»! Для них организованы были полевые кухни и медицинские пункты – труд разрушения требовал всесторонней поддержки... Откуда взялись они? Ведь не из неведомых стран и континентов завезли их! Нет! У них русские имена и русский, пусть и огрублённый, примитивный язык. Русскими были их родители. В России родились и выросли они. Откуда же эта безумная ненависть? Издревле русский человек с особой чуткостью понимал красоту, оттого так и заботился об украшении своей земли, не жалея кровной копейки...

Знать, верно утверждение, что пролетариат не имеет национальности. Тот, прежний русский человек, возрастал на лоне природы, среди лесов и лугов, где прекрасно и одухотворено всё. Но работники фабрик и заводов не познали этой красоты, и, духовно ограбленные, увечные, ярились теперь разрушать её. На её месте они увидят понятное себе – например, кино-театр...

Из Успенского собора вышли сосредоточенные сапёры. Заложили взрывчатку... Суевившаяся дотолпе толпа притихла, замерла – никто не желал пропустить исторического мгновения. Тягостно провыл ветер, прокочевал меж древних башен, отслужил панихиду...

Наконец, сигнал был дан, и уже в следующее мгновение раздался грохот. Громадный пятиглавник тяжело и испуганно ухнул, подобно человеку, получившему удар ножом под рёбра в тёмном переулке, и начал оседать, скрываясь в клубах пыли, провожаемый скорбными башнями, до последнего не верившими в возможность такого исхода, и ликующим пролетариатом, отмечающим очередное начало «новой эры»...

## Глава 2. Поминки по утраченному

Тот взрыв не только в соборе прогремел, но в сердце. Правда, оно крепче каменной кладки оказалось и зачем-то не разорвалось... Лишь чёрно-малиновые круги перед глазами пошли, и сами собой подкосились ноги, заставив пасть на колени перед казнённой святыней, ткнуться пылающим лбом в ледяной снег.

Сергей не пошёл бы в тот день к Симонову – слишком страшно было созерцать его гибель. Но на старом кладбище были похоронены мать Лиды, её дед, бабка, другая родня. Узнав о предстоящем сносе, она решила, во что бы то ни стало, перевезти прах дорогих людей в Донской монастырь. Разрешение помог выхлопотать Пряшников, также приехавший помочь в печальном деле.

Раскопка могил была назначена на семь утра. Ничей прах не был пощажён, а ведь на Симоновом покоились люди выдающиеся: князь Симеон Бекбулатович, прихотью Ивана Грозного игравший роль Царя, младший сын Дмитрия Донского Константин, князья Мстиславские, Урусовы, Юсуповы, Сулешевы, Бутурлины, Татищевы, Новосильцовы, Нарышкины, Шаховские, Вадбольские, граф Федор Алексеевич Головин и его сын адмирал Николай Федорович, дядя Пушкина Николай Львович, композитор Алябьев, коллекционер Бахрушин...

Бесстрастные писари вели протокол: «Вскрыт первый гроб. В нем оказались хорошо сохранившиеся кости скелета. Череп наклонен на правую сторону. Руки сложены на груди... На ногах невысокие сапоги, продолговатые, с плоской подошвой и низким каблуком. Все кожаные части сапог хорошо сохранились, но нитки, их соединявшие, сгнили...» К чему, вообще, был нужен протокол этим людям? Ведь ничуть не собирались они позаботиться о новом месте упокоения останков, но сметали их в общую яму, чтобы затем на изломанных костях возводить «очаг пролетарской культуры». С ужасом заметил Сергей, что участники раскопок не брезгают прихватывать себе из могил «трофеи» – от сохранившихся вещей до костей покойников...

От всего происходящего мутило. И уж совсем невмоготу стало, когда добрались до фамильной могилы Аксаковых, которых вместе с поэтом Веневитиновым милостиво разрешили перенести на Новодевичье. С этой могилой, где упокоились отец и оба сына Аксаковых, гробокопателям пришлось повозиться. Над нею росла огромная, раскидистая берёза, покрывавшая всё захоронение. Когда оно было разрыто, то оказалось сложным извлечь останки грудной части Сергея Тимофеевича – именно из неё, из самого сердца произрастал корень берёзы... Но изрубили его, и извлекли, отняли у земли прах, занесли в протокол...

– Зря ты пришёл, – сказала Лида, когда останки её родных были погружены на нанятые подводы. – Мы бы управились без тебя, а тебе всё это видеть не стоило. Иди домой, а на Донском мы сами...

Эта женщина не ошибалась никогда. Ему, действительно, не следовало приходить и уж во всяком случае, дожидаться конца драмы. Но когда жена вместе с сыном и Стёпой отправились в Донской, Сергей понял, что уйти не может, не может малодушно бросить монастырь в его последние часы. С того дня гул взрыва и вид руин на месте Успенского собора беспощадно преследовали его. Казалось, что эти руины погребли под собой всякую надежду, погребли труды стольких лет...

С начала 20-х Сергей входил в общество «Старая Москва», которое возглавлял крупнейший москвовед Петр Николаевич Миллер, не мысливший свою жизнь без России и Москвы, досконально знавший историю всех столичных районов, улиц, большинства домов. Членами «Старой Москвы» являлись крупнейшие учёные, исследователи, деятели искусства: М.И. Александровский, К.В. Базилевич, П.Д. Барановский, А.А. Бахрушин, С.К. Богоявленский, А.М. Васнецов, Н.Д. Виноградов, В.А. Гиляровский, В.В. Згура, М.А. Ильин, А.В. Орешни-

ков, К.В. Сивков, Д.П. Сухов, П.В. Сытин, М.А. Цявловский, А.В. Чайнов... Эти люди собирались даже в голодные московские зимы: сидели в шубах, согреваясь чаем с чёрным хлебом и ставшим редким лакомством сахаром, и читали рефераты по старой Москве для пришедших слушателей...

К 1927 году в составе «Старой Москвы» работало одиннадцать комиссий. Среди них: протокольная, кладбищенская, комиссии по регистрации архитектурных памятников, по составлению исторического атласа Москвы, экскурсионная, библиографическая, мемуарная, издательская... Когда возникла угроза уничтожения ряда московских кладбищ, кладбищенская комиссия и Союз писателей осенью 1926 года образовали «Временный Комитет по охране могил выдающихся деятелей», первое заседание которого состоялось третьего марта 1927 года под председательством Миллера. В результате были приведены в порядок могилы Хераскова и Чаадаева в Донском монастыре, «Литераторские мостки» на Пятницком кладбище, разысканы могилы художника Саврасова, писателей Астырева, Соловьева-Несмелова, Успенского, Разеренова и других.

Годом позже под председательством Петра Николаевича была учреждена Пушкинская комиссия, поставившая своей задачей дальнейшее выявление пушкинских мест столицы и конкретизацию круга московских знакомств поэта.

«Старая Москва» занималась организацией выставок и конференций, краеведением, археологическими раскопками, издательской деятельностью. Вся деятельность её была посвящена сохранению исторической памяти и народному просвещению. Члены общества, среди которых было немало молодёжи, узнав о планах сноса того или иного памятника, спешили замерять его и фотографировать. Они же неустанно протестовали против нарастающего вала вандализма...

Но получив тавро «вредителей» – замолчали и самые смелые. С конца Двадцать девятого началось подавление всех краеведческих и общественных организаций, связанных с историей и культурным наследием. Под ударом оказались Общество истории и древностей российских, Общество любителей старины, Общество изучения русской усадьбы, Институт истории РАНИОН... Их судьба была уже предрешена, равно как и судьба «Старой Москвы», угасавшей на глазах.

Чувство безысходности всецело завладело Сергеем. Он не мог заставить себя вновь включиться в работу – обмерять, писать доклады по очередным обречённым памятникам и вести их мартиролог. Не выдерживала душа, опускались руки. И как-то само собой находилось утешение в исконном способе размыкания тоски...

Вьюжным февральским днём Сергей сидел в полупустой пивной, доканчивая взятый графин водки. Этим утром ему случайно попался на глаза четвёртый номер подлейшего кольцовского «Огонька» с фотографией обломка симоновской колокольни на обложке и восторженными статейками... Сколько привелось читать подобных за последнее время! Так и исходились советские газеты: «Москва не музей старины... Москва не кладбище былой цивилизации, а колыбель нарастающей новой, пролетарской культуры». «Улица, площадь не музей. Они должны быть всецело нашими. Здесь политически живёт пролетариат. И это место должно быть очищено от... векового мусора – идеологического и художественного». «Гигантские задачи по социалистическому строительству и новому строительству Москвы... требуют чётко выраженной классовой пролетарской архитектуры». «Давно пора поставить вопрос о создании в плановом порядке комплексного архитектурного оформления города, отражающего идеологию пролетариата и являющегося мощным орудием классовой борьбы»...

Идеологом этой кампании являлся секретарь Московского комитета партии Лазарь Каганович, большую же часть пышущих кипящей ненавистью ко всему русскому газетных передовиц писал «отец» Союза воинствующих безбожников Губельман-Ярославский. Одно огорчало этих неутомимых разрушителей – никак нельзя было взорвать половину Москвы, столь

ненавистной им. Однако, выход нашли без труда. Его подсказал один из начальников архитектурного мира Гинзбург. В первом номере «Советской архитектуры» за 1930 год он писал: «Мы не должны делать никаких капиталовложений в существующую Москву и терпеливо лишь дожидаться естественного износа старых строений, исполнения амортизационных сроков, после которых разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы».

Москву и всю Россию «дезинфицировали» от прошлого...

Сняв и выбросив номер ненавистного «Огонька», Сергей, движимый безысходной болью, поехал в Москву, где не иначе как в припадке нравственного мазохизма поехал к Симоновскому холму... Среди уродливых заводских коробок, которыми загодя обложили, как флажками затравленного зверя, монастырь, трагически возвышались три уцелевшие башни. Верный своей подлости Горький просил при сносе Симонова сохранить одну башню... Сохранили три – как вечный памятник варварству.

Вокруг уже всюду кипела работа. Расчищали последние завалы. Могильные плиты бережно сохранили, дабы использовать их под фундамент. Возводить «дворец» на костях предложили Щусеву, но тот отказался категорически. А вот братья Веснины не смутились и взялись за выполнение заказа...

Вдоволь ошпарив незаживающую душу скорбным зрелищем, Сергей в который раз пытался утишить свою боль. За этим занятием и застал его Стёпа Пряшников, как из-под земли возникший перед ним в распахнутом полушубке и с видом явного негодования.

– Слава Богу, жив и пока на свободе! – выдохнул он, усаживаясь напротив и бесцеремонно придвигая к себе графин. Дёрнув стопку, Степан обратил на Сергея вопросительный взгляд: – Ты с ума-то долго ещё сходить будешь или как?

– А ты считаешь, что в разуме нынче быть полезнее? – Сергей потянулся за графином, но Пряшников проворно отодвинул его:

– Разум полезен всегда. И если бы у тебя он был, то ты, как минимум, размыкал бы тоску дома, где твои сетования слышала бы лишь бедная Тая, а не милейшие пролетарии, мирно утоляющие жажду за соседними столами.

– Плевал я на них...

– Давно плевать-то стал? Не ты ли раньше затыкал рот мне?

– Раньше была надежда...

– Ну и дурак, – пожал плечами Пряшников. – С надеждами было вполне покончено с первого дня.

– И как же ты живёшь?

– В смысле?

– Без надежды?

– А я, друг ты мой, просто живу, – ответил Стёпа. – Как любил хорошую компанию, так и люблю, как любил хорошеньких женщин, так и люблю, как любил вкусное застолье, так и люблю! Я вообще люблю жизнь! Такой я человек.

– Счастливый...

– Разумный, – Пряшников поскрёб кудлатую бороду. – Слушай, брат, кончай дурить, ей-Богу. Я на будущей неделе в Коломенское перебираюсь – буду работать с Петром Дмитриевичем. Айда со мной? Там сейчас настоящее дело кипит! Живое! Которое рук и глаз знающих и любящих требует!

– А зачем всё это? – страдальчески спросил Сергей. – Чтобы завтра всё, что мы сделаем, обратили в руины?

– Всё в руины не обратят! – твёрдо сказал Степан.

– Ты думаешь? А я, вот, сужу иначе! – Сергей заговорил шёпотом, перегнувшись через стол к Пряшникову. – Памятники для них – это не просто некие объекты культуры, это –

свидетели, обличающие их ложь. Четыре года назад мои дети принесли в дом учебник «Русская история в самом сжатом очерке». Историю в школе тогда перестали преподавать, заменив политграмотой. А в этом «очерке» наш главный «историк» товарищ Покровский извещал подрастающее поколение, что настоящая история нашей страны начинается с семнадцатого года! И поливал грязью Суворова и войну 1812-го. «Умная нация-с поработила бы весьма глупую-с!» Вот они, Смердяковы, во власть пришедшие! Войну 1812 года Россия вела, оказывается, не за свою свободу, а «вследствие торговых и политических интересов эксплуататорских классов»! Так-то! Минин и Пожарский – «представителей боярского торгового союза, заключённого на предмет удушения крестьянской войны»! Микешинский памятник «Тысячелетие России» – художественно и политически оскорбителен! А Саратовское дело? Профессора Чернова выгнали из университета и арестовали за то лишь, что он на лекциях с симпатией говорил о Дмитрие Донском и победе на Куликовом поле!

– Всё это я знаю не хуже тебя, – поморщился Стёпа. – К чему ты ведёшь?

– Их главный клич какой? «Довольно хранить наследие рабского прошлого!» Но рабы не могут созидать столь великие памятники! Не могут иметь развитых хозяйств, достижений в науке и технике! Поэтому всякий исторический памятник, всякая крепкая крестьянская изба, всякий независимый и сильный человек уже одним своим бытием свидетельствуют о том, что их пропаганда ложь, что за спиной у нас великая история и славные предки! Если возводили такие монастыри – значит, велика была культура и мастеровитость! Если крепко и зажиточно хозяйство мужика – значит, совсем неплохо жилось при «проклятом режиме»! Чтобы ложь выдать за правду нужно уничтожить обличающие её улики! И они уничтожат! Выкорчуют без следа! Нынче всё преступление... Красота, ум, хозяйственность... Не смей выделяться! Каменные коробки, серые рабы, убогие избы – вот, что останется! И пустыри, пустыни...

– Ну и напустил же ты, брат, мрака, – покачал головой Пряшников. – С таким восприятием жизни и впрямь недолго умом подвинуться.

– Опровергни мой взгляд! – раздражённо бросил Сергей. – На их Съезде последнем помнишь что провозглашалось?

– Идиот я, что ли, помнить, что эти черти несли?

– А зря, Стёпа, зря! В качестве главных угроз социалистическому строительству на этом съезде указывалась опасность национализма, «великодержавный уклон» и «стремление отживающих классов *ранее великорусской* нации вернуть себе утраченные привилегии»!

– Тьфу... – передёрнул плечами Степан и, чуть слышно выругавшись, опрокинул ещё стопку.

– А помнишь, что писал Островский о Москве? – всё более горячился Сергей, едва сдерживаясь, чтобы не заговорить в полный голос.

– Я никогда не обладал твоей памятью...

– А он, между прочим, писал: «В Москве все русское становится понятнее и дороже. Через Москву волнами вливается в Россию великорусская народная сила»! Вот, поэтому они уничтожат Москву! И всё прочее, что способно влить в нас, *прежде великорусский*, прежде народ национальную силу!

– Ну и что дальше? – хмуро спросил Степан. – Ничего не делать и тихо разлагаться заживо?

– А какой смысл делать что-либо? Всё земное на проверку оказывается прахом... Столетиями великие государственные деятели, подвижники строили русское государство, отдавали свои жизни за него. Зачем? Чтобы пришли мерзавцы и обратили их создание в навоз? И так не только у нас! Великий французский гений Ришелье, проклинаемый всё время своего правления, создал их государство, потратив на это всю жизнь. Зачем, спрашивается? Чтобы сперва его наследие промотали Людовики со своими шлюхами, а затем утопили в крови Робеспьеры и Наполеоны? А чернь играла, как мячом, его черепом? И чтобы, в конце концов, имена уни-

чтожителей французской нации почитали больше, нежели его? И ведь у нас, Стёпа, будет то же! Не Столыпина будут чествовать наши потомки, а... Сталина!..

– Довольно, – Пряшников с силой тряхнул Сергея за плечо. – Я не советовал бы тебе стремиться в гостеприимные номера бывшей гостиницы на Лубянской площади. Хотя бы ради того, чтобы твои дети не вынуждены были пухнуть с голоду в ссылке за полярным кругом. А опускать руки нельзя никогда... Даже когда морок кругом. Посмотри на Барановского. Ему ли не дорого всё ныне разрушаемое? Больше жизни дорого! Но он борется и подчас небезуспешно! И его, Миллера и других таких же одержимых подвигом будет спасено хоть что-то, и им когда-нибудь поклонятся потомки. А, вот, если все будут сидеть и хлопать себя ушами по щекам, то, действительно, и памяти не останется от нас, от самой России!

В это время дверь заведения со скрипом отворилась, и порыв ветра буквально вдунул внутрь хрупкую, одетую в худое пальтишко фигуру Таи. Сергей страдальчески поёжился, поймав полный укора взгляд Степана.

Бледная, дрожащая Тая подошла к столу и, даже не подумав сесть, сразу коснулась обеими руками плеча Сергея:

– Серёжа, поедem домой, – попросила умоляюще. – Я так долго искала тебя, я так замёрзла...

– Зачем ты приехала, Тая? – болезненно поморщился Сергей, чувствуя себя окончательно раздавленным тем, что оказывается причиной её страдания. – Не нужно было!

– Затем, что не могла сидеть и ждать, не зная, где ты и что с тобой... – слабым голосом ответила Тая.

– Помилуй, Тасенька, я же обещал тебе, что отыщу и доставлю его тебе живого и невредимого! – развёл руками Степан. – Совершенно незачем было тебе ехать в Москву в такую вьюгу! Не хватало ещё простудиться...

– Я уже простудилась... – с бледной улыбкой ответила Тая. – Утром у меня была температура тридцать восемь, а сейчас... сейчас я не знаю... – она покачнулась, и мгновенно вскочивший на ноги Пряшников проворно усадил её на стул. Склонившись к уху Сергея, он шепнул:

– Ты, конечно, можешь сколь угодно плевать на наше общее дело, считая его тщетным, но её-то хоть пожалел бы!

Сергей чувствовал, как всё вокруг расплывается перед его глазами. Он зажмурился и стиснул голову руками, простонал отчаянно:

– Уйдите все! Оставьте меня в покое! Пусть я ничтожество, пусть! Так уйдите же... Какое вам всем до меня дело...

Пряшников обратился к Тае:

– Надеюсь, милая Тасенька, что вам достанет сил идти самой, потому что нести на своём хребте двух сумасшедших мне не под силу. Хватит с меня и одного! – с этими словами он легко подхватил Сергея со стула и, взвалив его на плечи, ринулся к двери...

### Глава 3. Мука

Совсем недавно ей казалось, что просто быть рядом с ним – это высшее счастье. Она не знала в то время, каким горьким и мучительным может быть счастье. Теперь приходило постижение...

Последний год Тая жила с чувством нарастающей муки, рождённой созерцанием страданий и метаний любимого человека и собственным неумением помочь ему. Не было такого испытания, на которое не пошла бы она для него, не было для неё заботы главнее, чем создать для него уют, помогать во всём. Но все усилия разбивались о ту чёрную, как грозовая хмарь, тоску, что окутала его своим саваном.

Хуже всего было то, что не могла Тая понять, что же нужно Сергею, и всё более отчаивалась достучаться до него. Старец Серафим, странствующий по России, у которого Тае посчастливилось побывать, когда он останавливался в Посаде, утешал её, что придёт время, когда всё станет на свои места.

– Сами вы свой путь выбрали. Что же плачешь? Терпи. Этой скорбью грех искупляется.

– Да я терплю, я всё для него стерплю, – плакала Тая. – Но ему-то самому как помочь?

– Ты своё терпи, а ему своё терпеть должно. Время придёт – отомкнутся запоры и на его душе. И он, как ты теперь, обратится к кому-нибудь с покаянными слезами, которыми душа убелается и врачуется. И тогда уже не грех свяжет вас, а глубокое духовное родство, и не погибать вы вместе станете, увлекая друг друга в пропасть, а спасаться, друг друга поддерживая. Жди и будь с ним, что бы ни случилось.

Очень хотелось Тае, чтобы и Серёжа услышал утешительное слово старца, но ему так и не достало духа пойти к праведному страннику. На все просьбы Таи отвечал он лишь страдальческим взглядом или вовсе прятал глаза, уходил от разговора. Совестьливая натура его страдала от сознания неправильности собственной жизни, но природная застенчивость, страх стыда мешали ему перед кем-либо раскрыть потаённые уголки души. Немало времени понадобилось Тае, чтобы понять это и смириться, ожидая предсказанного старцем времени, страшась грядущих неизбежных испытаний...

В таком-то страхе и бросилась она в Москву, несмотря на жар и обещания Степана Антоновича найти Серёжу. До дома Тая добралась едва ли ни в беспамятстве, тогда как Сергей, успевший за время пути прийти в себя, испытывал острую потребность в покаянно-жалобных объяснениях, в горестных рассуждениях о невыносимости существования в условиях мертвящей всё системы. Когда же, наконец, измученный нравственно и физически, он уснул, Тая шатко прошла в гостиную. Здесь Степан Антонович тотчас усадил её в глубокое кресло перед жарко растопленной печью. Покачав головой, он хмуро заключил:

– Одну бабу заездил, теперь вторую запалить хочет...

– Зачем вы так? – слабо возразила Тая, тускло глядя на нависшего над нею длинного Пряшникова. – Он же ваш друг...

– То-то, что друг, иначе бы не так сказал...

– Что мне делать, Степан Антонович? – Тая чувствовала, как по щекам её катятся слёзы. – Я ведь люблю его, я всё для него, я...

– Одной-то любовью не проживёшь, моя милая юница. Тем более, когда ты не семнадцатилетний мальчишка, не ведающий жизни. Жизнь не вздохни на скамейке.

– Не любите вы меня, Степан Антонович...

– Довольно уж, что я его, дурака, люблю и терплю столько лет, – Пряшников раздражённо бросил в огонь поленце. – И Лиду...

– Считаете, что я виновата? Что я разрушила семью?

– Моя милая юница, вы мелете совершенный вздор. Их семья разрушилась задолго до вас. Вы лишь последовали своему чувству... В ваши годы это естественно, и уж во всяком случае не я буду вашим судьёй. Вы любите его, я знаю... – Степан Антонович помедлил. – Но он должен был оставаться с Лидой. Если не по моральным соображениям, то для собственного блага.

– Почему?..

– Почему? Да потому, Тасенька, что Лидия Аристарховна не задавала бы теперь вопроса, что ей делать. Поймите, есть люди, подобные сильным деревьям. А есть такие, что похожи на вьюны. Их цветы нежны и прекрасны, но стебли слишком слабы. Чтобы жить, им непременно нужно обвиваться вокруг крепкого ствола. Иначе они оказываются вынуждены ползти по земле, чахнуть, и в итоге их забивает сорная трава, либо затаптывают чьи-то равнодушные ноги. Вы, милая юница, слишком тонкая и хрупкая травинка, чтобы выдержать вьюн. Участь такой травинки быть распластанной вместе с ним по земле и затоптанной.

– Вы жестоки...

– Я справедлив.

– Моя участь не страшит меня, Степан Антонович. Но его... Если бы вы знали, как страшно мне, когда он уходит! Всякий раз мне кажется, что навсегда... Я боюсь, что его речи услышат, что его арестуют...

– А я сегодня немало обеспокоился, что ваш ненаглядный подведёт под монастырь меня! Хоть впору рот затыкать было...

– Вот видите!

– Вижу. И знаю, что при Лиде подобное было бы невозможно... Ладно, – Пряшников закурил трубку, – не тревожьтесь, милая юница. Пьяный не покойник – завсегда проспится. А как проспится, так махнём втроём в Коломенское. Надо будет – силком потяну его. В Коломенском, Тасенька, благодать! Луга, холмы... Полной грудью дышится! Поселимся в комнатёнке у добрых людей, будем работать целыми днями. Работы там – непочатый край! А я давно заметил, что душевные недуги лучше всего лечатся трудом. Тем более, когда труд этот благородный и творческий, когда вокруг прекрасная природа и такие же люди. Самая что ни на есть живоносная атмосфера.

– Какой вы чудесный человек, Степан Антонович... Правду о вас Лидия Аристарховна говорила.

Пряшников грустно усмехнулся, поскрёб седеющую бороду:

– Странные вы существа, женщины. Чудесен у вас я, а любите вы обе его...

– А я давно поняла, что вы Лидию Аристарховну любите...

Тая не успела договорить, так как во входную дверь требовательно постучали.

– Сидите, – Степан Антонович предостерегающе поднял ладонь, – я открою сам.

Ночной стук в дверь казался в те годы куда страшнее, чем раскат грома в первобытные времена. Тая съежилась в кресле, напряжённо вслушиваясь в доносящиеся звуки, и облегчённо перевела дух, узнав в согбенной, закутанной в дорогое пальто фигуре ночного гостя мужа серёжиной сестры, Александра Порфирьевича. Этого в высшей степени неприятного человека Тая не любила, но, поднявшись ему навстречу, изобразила приветливость:

– Александр Порфирьевич? Что вас привело в такой час?

– Где Сергей Игнатьевич? – быстро спросил Замётов, шаря по сторонам колючими глазами.

– Спит...

– Разбудите его.

– Я не могу... Вы понимаете, он нездоров, и в его состоянии...

– Мне глубоко наплевать на его состояние, – грубо ответил Александр Порфирьевич, нервно притопнув ногой. – Я приехал сказать, что завтра здесь будет его отец с семейством. Потрудитесь принять их.

Тая непонимающе покосилась на Пряшникова.

– Может быть, вы объясните нам, что происходит? – спросил тот Замётова.

– Не имею времени, – отозвался тот, стряхивая с плеч таящий снег. – Тем более, что Сергей Игнатьевич не желает знать о бедах собственной семьи. Желаю здравствовать ему и вам!

Александр Порфирьевич ушёл, оставив Тая в полной растерянности.

– Что всё это может значить? – слабо спросила она Степана Антоновича.

Пряшников вновь задумчиво поскрёб бороду и, выпустив клуб дыма, тихо сказал:

– Кажется, я знаю... Ваш дорогой и ненаглядный, видимо, снова оказался пророком. Мир – баракам и хижинам, война – дворцам и добрым избам: вот, что это значит! Прогресс по-советски шагает по стране, вытаптывая всё живое...

## Глава 4. Игнат

Поиграла, как кошка с мышом, «народная власть» с мужиком. Сперва придавила и впи-лась когтями, затем отпустила вдруг, так что почти поверилось в счастливое спасение, а вслед прижала вновь, смертно уже... Что ж, низко кланяемся вам, товарищи-заботники, цельных пять лет позволили вспомнить, как жить по-человечьи!

Как ни напакостил Ильич, а сообразил же, когда раззор в стране все масштабы превзошёл, что нельзя без хозяев, без самостоятельных, деятельных людей, без инициативы частной. Развязал руки, благословил учиться торговать и обогащаться. Мужичу русскому учиться нечему было – дай только волю да не мешайся под ногами! Снова расцвела деревня, как перед войной: заколосились прежде заброшенные поля, выросли новые дома да амбары, завертелись весело мельницы... Снова возродилась загубленная комбедами кустарная промышленность. Да и сам народ принарядился, ободрился.

Оживился и Игнат, как нашёл НЭП. Хотя и сторожко всякий шаг делал, ища подвох во властных щедротах. Блазило поперву из деревни перебраться в создаваемый вблизи посёлок. Те посёлки нарастали повсеместно на бывших помещичьих и хуторских землях. Наделы давались большие, формально – для общего пользования с ежегодным переделом полос по числу душ в семьях. Однако, соблюдая форму, мужики негласно распоряжались поселковой землёй по-своему: делили её однажды и навсегда, оставляя небольшую часть про запас, если потребуетсся кому надбавка, и трудились на своих наделах самостоятельно, друг от друга не завися. Благодаря гектарной площади усадеб, можно было развить на них самые богатые хозяйства, расстояния же между домами обеспечивало безопасность от больших пожаров.

Будь Игнату поменее лет, либо будь при нём взрослые крепыши-сыновья, то и ушёл бы в посёлок от деревенской толчеи подальше. А так – куда податься старому? К тому же не верилось в прочность властной милости... Это недоверие заставляло придерживать хозяйские стремления. Стара была изба, и куда как недурно было бы новую отстроить, но ограничился Игнат лишь тем, что подновил подгнившие брёвна да покрыл крышу железом, да пристроечку полегоньку сообразил. Также и во всём: обзаводился Игнат лишь необходимым для достаточной жизни, не ища большего, не растрачивая немолодых сил понапрасну. Если прежде больше работал он в поле, то теперь отдавал предпочтение труду ремесленному, дававшему в руки твёрдую трудовую копейку. Заработки свои Игнат тратил с большой аккуратностью, откладывая сбережения на чёрный день. В том, что такой день неизбежен, сомнений не было, а на него всего надёжней казалось иметь рубль в укладке, нежели ту или иную полезную вещь, которую в случае беды с собой не унести. Память об однажды утраченном доме и хозяйстве заставляла дуть на воду.

Казалось бы, отчего не уняться было товарищам-заботникам? НЭП полностью излечил деревню и всю страну от мертвящего малокровья. Но догма или иная сатанинская сила требовала от своих последышей наперекор всякому здравому смыслу строить социализм на селе.

Ещё Ильич начал насаждать в деревнях совхозы. Им надлежало показать мужикам пример социалистического земледелия, под влиянием которого они сами бы объединили свои частные хозяйства в единое коллективное. Только, вот, незадача вышла с примером. Поедешь в посёлки – там любо-дорого глазу на изобилие смотреть: и пашни, и сады, и пасеки. Сунешься в совхоз: разруха, голод и нищетождь ледащая, с руками для работы неверно заточенными. И пёс бы с ними, с лодырями, но тоска брала смотреть, как страдает голодная животино...

А ведь как иначе быть могло? Лодырю сколько инвентаря, земли и скотины ни дай, он всё одно работать не станет. Переломает да испаскудит всё, а затем ещё и виноватого съест – работающего соседа. А к тому ещё поставили директорами совхозов партийцев – сплошь из

отходников, рабочих и интеллигентов. Дурни те труда крестьянского и не нюхали и о том лишь пеклись, как угодить вышестоящему начальству и сытно устроиться самим.

В совхозе «Красная заря», куда пару раз заезжал любопытствующий Игнат, присланный из города директор умудрился пристроить в свою канцелярию добрую дюжину кумовьёв да приятелей, которые получали зарплаты, не ударяя палец о палец. Распределение совхозных продуктов также выливалось в расхищение их: директор и всевозможные секретари и председатели брали их для своих домочадцев, а кроме того для ненасытной орды в виде начальства. Воз за возом отправлялись в волость и саму губернию мясо и молоко, фрукты и овощи.

Сам директор, ещё нестарый мужик из рабочих, был не зол нравом и не дурак выпить. Будучи в подпитье откровенничал, не таясь:

– Ежели мой совхоз будет задарма кормить уездное начальство продуктами, то за убыточность меня малость потреплют по холке на заседаниях для проформы и шабаш. Но ежели я не буду снабжать начальников, то берегись! Будь совхоз самым прекрасным и прибыльным государственным предприятием, мне в нём не удержаться. К ядрёной матери вышибут! А то ещё политическое обвинение «пришьют» – «вредительство», «уклон» – и загонят в тартарары...

Воровство и разгильдяйство привело к повсеместному провалу совхозов, о чём свидетельствовала даже советская печать. Они не только не давали государству никакой прибыли, но ещё и получали от него дотации для покрытия своих расходов.

Но и этот печальный опыт не остудил заботников. Снова призвало государство ораву нищобродов и стало объединять их в товарищества по совместной обработке земли, сокращенно ТОЗы. Безлошадные крестьяне объединялись в кооператив, для которого власть выделяла инвентарь и несколько лошадей для совместной обработки земли. В сущности, не самая скверная идея была, да, вот, только даже в нищобродах проснулся дух «единоличника». Каждая семья стала обрабатывать свою землю сама. Лошадей использовали в очередь по одному дню, и кормить её должен был тот, кто пахал на ней в тот или иной день. В итоге не работа шла в ТОЗе, а вечная склока: очередь в использовании лошадей; непогожие дни, когда лошади совсем или частично не использовались; кормежка лошадей в нерабочее время; порча и ремонт инвентаря и упряжи... Всего жальче было самих лошадей. Никогда не имевшие их нищоброды не знали, как ходить за ними, и в итоге животные хирели.

Посмеивались презрительно мужики над неладами ТОЗовцев, а те злобились, притаивали обиду до времени.

В те годы власти заигрывали с мужиком, допуская прямое участие крестьян в общественно-политических делах. Мужики выступали на собраниях и съездах, вносили свои предложения и пожелания, проявляли особенную активность при выборах советов, хорошо понимая огромное значение местных органов власти. Эти выборы стали для властей горькой пилюлей. На них они выдвигали свой партийный список и старались навязать его собранию. Беспартийные одиночки предлагали дополнительных кандидатов. Во время голосования в тех случаях, когда беспартийных было большинство, самых неприятных партийных кандидатов собрания нередко «проваливали», а беспартийных, уважаемых, деловых людей, выбирали. Бывали случаи, что «проваливали» весь список большевистской фракции и выбирали исключительно беспартийных.

При обсуждении отчетов советских, профсоюзных, кооперативных органов мужики никогда не давали спуска докладчикам, критикуя многие недостатки и задавая очень неприятные вопросы. Находились и такие, что сами выступали с умными и дельными речами, сводившими в ноль весь безграмотный треск партийцев.

Дошло до того, что на съездах советов и в Центральном Исполнительном Комитете Советов мужики стали организовывать «фракции беспартийных», а деревенская молодежь стала самочинно создавать организации самостоятельного, независимого от опеки комсомола, Союза Крестьянской Молодежи.

Всё это вскоре вывело власть из терпения, и всякие внепартийные организации были распущены и запрещены. Для выборов была принята новая система: выборы во всех организациях стали проводить не в индивидуальном порядке, а только по спискам. На каждом съезде, в каждой организации выдвигался от имени фракции и партийного комитета список и предлагалось: «проявить доверие к партии и голосовать единодушно». Несогласные могли предложить на голосование другой список, за подписью не менее десяти делегатов этого съезда. Но на собрании составить таковой было некогда, а при составлении его заранее, можно было схлопотать обвинение в проведении воспрещенных «совещаний беспартийных», а как следствие – в организации антисоветской партии и «контрреволюционного заговора» против советской власти. Вскоре в отношении не в меру критичных участников совещаний прошла волна репрессий. После этого стало ясно, что во избежание беды лучше держать язык за зубами... Такая роль, однако, могла удовлетворить безруких нищелюбов и лодырей, но никак не опытных, крепких хозяев. Так и загасли собрания. Перестали ходить на них мужики, не желая быть мебелью, безмолвно слушающей глупую трескотню.

Среди наиболее активных ораторов на приказавших долго жить совещаниях был мельник Андриан Клюев. «Ума палата, а язык, что твоя бритва», – уважительно говорили о нём мужики. И учёному человеку дал бы фору Андриан, а уж о партийных неучах – что говорить? Как семечки щёлкал он пустозвонов этих: они – речь пламенную в три дюжины словес, а он в ответ – два словечка всего, но таких, что все речи перекрывали, уничтожая ораторов. Раз говорили на собрании о совхозах, и зашла речь о неутешительном положении совхоза соседнего. Партийцы защищали провалившего опыт директора, хотя и бранили его за допущенные ошибки, мужики, распалившись, заспорили. А Андриан рассудил, усмехаясь краешком губ и приятно окая:

– От, распекают тут товарища Кутилина. От, Михей Иванович даже дураком его наградили. А я хочу за Кутилина заступиться... – повисала пауза, словно задумался оратор. – Он из города каков приехал? В латаных портках да тужурке с чужого плеча. А теперь пальто у него кожаное да сапог не одна пара. А у бабы его тряпья, что у твоей курицы перьев. А ещё ж кругом него братья сватьев да сватья братьев, и все тоже не голодующие, и все на жаловании. Никто никогда не видал их за работой, но при этом все они сыты, обуты и одеты. Ведь это же чудо, как удалось товарищу Кутилину, едва став начальником, так благоустроить столько душ разом! Какой же он дурак после этого? Наоборот, это очень умный человек! Ну, а что совхоз при этом изничтожил вконец, так чем же виноват Кутилин? Есть ведь другие очень умные люди, что Кутилиных командировать ставят, чтобы они социализм строили. Так, вот, медаль Кутилину дать надо. Он этот самый социализм построил! Пока, правда, лишь для себя и дюжины людей, но, может, он и остальных к тому подтянет? Пушай государство подмогнёт!

Засмеялись мужики одобрительно, а партийцы нахмурились. Боялись они Андрианова языка! На собраниях сидел он неприметно, не выделяясь ничем, пока говорили другие – ладно голову подопрёт и точно дремлет. Но вдруг приоткроет глаз, усмехнётся да отвесит что-нибудь – спокойно, не повышая голос, а припечатывая словом. А уж если свою речь говорить начинал, то любо-дорого послушать! И ведь говорил-то, не шумя, не жестикулируя, а неспешно, попросту, будто бы даже шутейно и не всерьёз, будто бы сам удивляясь и недоумевая, а под видимостью этой самые серьёзные и важные вещи выговаривались. Не обличал Андриан впрямую, но так язвил и выворачивал всю глупость сверху насаждаемую, что немало потов сходило с тех, кому приводилось с ним схлестнуться.

Не раз замечали Андриану, что за столь смелые речи горько поплатиться можно. Но долговязый мельник лишь посмеивался в ответ, вскидывая острый, чисто выбритый подбородок:

– Волков бояться – в лес не ходить.

Причина такой смелости коренилась отчасти в том, что жил он один, как перст, схоронив и жену, и сына. Правда, был у Андриана брат Филипп, немногословный, лишённый какой-либо желчи, невысокий, коренастый мужик, избегавший всяких собраний и всецело погло-

щённый хозяйственными и семейными хлопотами. Семья Филиппа насчитывала дюжину душ: старики-родители, жена и девять детей. В самом начале НЭПа он перебрался в посёлок и зажил там свободным хуторянином.

Вместе со старшими сыновьями Филипп отстроил большой дом в пять комнат, разбил фруктовый сад, в котором насадил редкие виды яблонь и груш, а также вишни со сливами. На другом конце усадьбы устроил он пасеку, о которой мечтал с давних пор. Не враз устроилось Филиппово хозяйство, понадобилось несколько лет, чтобы обжиться на новом месте. Зато как обжился! И радовался Игнат плодам труда человеческого, но и не позавидовать не мог. Мечталось и ему зажить также: в новом, крепком доме, утопающем в садовых кущах, своим хозяйством...

Нежданно судьба преподнесла подарок: полюбилась Филиппову сыну Борису Любаша. Ей о ту пору семнадцатый годок шёл – не девица, а яблочко наливное. Не чаял Игнат души в своей любимице, и не хотелось так рано отпускать её в чужую семью, но в семью Филиппа – дело особого рода. К тому и ей справный и хозяйственный Борис по душе пришёлся. Посовещались семейным кругом да на другой год свадьбу сыграли.

А ещё через год родился внук, Игошка. Крестили его Успенским постом, а на Спас отпраздновали в Филипповом доме. Дом этот Филипп до сих пор продолжал любовно украшать, находя в этом особое удовольствие. Глядя на ажурную резьбу наличников и изящное крылечко, на белые занавесочки с геранями на подоконниках, на разбитые под окнами цветники, Игнат невольно вспоминал барский терем в Глинском. Конечно, Филиппову дому далеко до него, но что-то схожее определённо просматривалось.

Сидя на крыльце и прихлёбывая холодный квас, Филипп счастливо вздыхал:

– Сбылась мечта, Матвеич! Верись, всю жизнь мечтал сам собою жить. Чтобы своя земля, свой дом, просторный, в котором всем бы место нашлось, чтобы сад, пасека... Сад мне даже ночами грезился! Помещик наш, Царствие небесное, яблони с грушами культивировал. Каких только сортов в его саду не было! Слаще мёда... Наши дурни после чуть этот сад не загубили совсем. А я росточки тех деревьев у себя насадил. Пройдёт лет десять – будут их плодами ребятишки мои лакомиться.

Сад слегка зашелестел, тронутый ветром, и несколько яблок со стуком упали на землю. Филипп продолжал, шурясь на клонящееся к западу солнце:

– Даже не верится, что сбылось всё... Что это – мой дом, что всё это – моё... Теперь уже окончательно. Последние долги, что на дом брал, я раздал. Последние узоры вырезал. Теперь только жить остаётся! Ох и заживём теперь! У Андриана мельница, у меня – всё это... Сыновья, вон, мужают один за другим, подопрели в помощь мне. Заживём!

Игнат не отвечал, грызя крупное, сочное яблоко. Ему, как водится, не верилось в безоблачное будущее, о котором грезил подвыпивший сват, но не хотелось огорчать Филиппа своими подозрениями, портить этот безмятежный и ясный праздничный день...

Ещё с весны власти активизировали в деревнях агитацию за колхоз. И чем напористей становилась она, тем беспокойнее делалось на сердце у Игната. На собраниях мужики все инициативы по социализации деревни прокатывали с редким единодушием. Даже из бедняков не все поддерживали их, а уж все, кто мало-мальски был способен к труду и не гол, как сокол, и вовсе тянули в противоположную сторону. Не говоря о посёлках, даже в деревне наладили крестьяне жизнь так, что каждое хозяйство стояло почти наособицу. Свободы и самостоятельности желали мужики, а не мертвящих колхозов, опыт внедрения которых в разных формах полностью провалился.

Но чуял Игнат: не смирятся большевики с поражением, додавят своё. Ильич давно лежал в гробу, а от преемников его чего ждать? Никогда не думалось, что придётся об Ильиче жалеть... Уж на что ненавистен он был Игнату, уж на что проклинаям, а теперь предчувствовал: настанет времечко – и его, сатрапа, придёт добрым словом вспомнить.

В ноябре неждан-негадан примчался из Москвы зять. Допреж ни разу не заносила нелёгкая, а тут в ночь-полночь появился, один, без Аглашки. С добрыми вестями этак не прискакивают – сразу насторожился Игнат. Услав Катерину спать, сел с гостем разговор разговаривать.

Александр Порфирьевич собирался уезжать ещё затемно, а потому торопился, говорил, не рассусоливая:

– В общем, так. На днях прошёл пленум ЦК. На нём решили взять курс на полную социализацию деревни. Принято постановление о сплошной коллективизации.

– Да что они, твои сукины дети, совсем осатанели там? – прошипел Игнат. – Хотят опять голодный мор по всей стране учинить?

– Это ты не у меня спрашивай, – сухо ответил Замётов. – А лучше подумай, как под раздачу не попасть. Сейчас в Москве Наркомзем создаётся. Заправлять им Яшка Яковлев будет. Этот миндальничать не станет. Надо будет – всех за полярный круг загонит, но социализацию проведёт. Они этот проект ещё с Троцким разрабатывали, но до времени под сукно положили.

– Так вроде Троцкого-то нынче самым лютым ворогом объявили? Хужей белогвардейцев?

– И что ж с того? Троцкий – враг, а дело его живёт и побеждает. Потому как дело у них, Матвеич, одно.

– А у тебя теперь, как я погляжу, другое? – усмехнулся Игнат.

– А мои дела тебя не касаются. Я тебя предупредил по-родственному, а уж ты думай своей седой головой, как выкручиваться. Сколько лошадей у тебя?

– Кобыла с жеребёнком...

– Сдай колхозу. Жеребёнка – как минимум.

– Чтоб они его изувечили и голодом заморили? – вспыхнул Игнат.

– Чтобы с тобой и твоей фамилией того же не сделали! Я не шутки с тобой шучу, Матвеич. Или, может, ты думаешь, я сюда в ночь к тебе приехал, собственное темечко подставляя, чтоб понапрасну напугать? Я не по докладам пленумов знаю, что грядёт, а изнутри! Поэтому послушай совета и думай о своей и детей своих шкуре, а не о лошадиной или овечьей...

Тяжко было совету такому следовать. И хотя понимал Игнат, что зять прав, а не сразу решился.

Вскоре в деревню приехала комиссия для проведения коллективизации: несколько дюжих рабочих из тех двадцати пяти тысяч, которых на пленуме решили послать для усиления колхозов, и наркомземовский уполномоченный Фрумкин. На очередном собрании, на котором предписано было быть всем, последний снова призвал мужиков вступать в колхоз, суля молочные реки с кисельными берегами. Едва закончил он свой визгливый монолог, как поднялся, чуть покачиваясь взад-вперёд, Андриан:

– Просим покорно простить темноту нашу. Вот вы, товарищ уполномоченный, призвали нас обобществить всё наше имущество. Я человек не жадный и свою корову зараз подарю хоть вот этому молодцу, – кивнул он на одного из рабочих. – Да ведь он не знает, с какого боку у ней вымя. Кончится тем, что или он мою кормилицу до падучей доведёт или уж она на рога его подымет! И в том, и в другом случае – убыток, не знаю, правда, в каком больший.

– Но-но! – подал голос двадцатипятилетний.

– А ты, сынок, не нокай, не оседлал покамест и не оседлаешь.

– Товарищ Степанов не будет заниматься дойкой коров, – ответ Фрумкин.

– Сняли с души камень, товарищ уполномоченной. А позвольте осведомиться, чем он будет заниматься? Прошлым летом, вон, приезжал к нам один такой. Нашей Марфутки муженёк-морячок. Ерой! По морям-окиянам ходит! Да от только четыре косы, с которыми у нас любая баба сладит, изломал в один день! Оно дело статнее: сила-то есть... Но только опять ведь убыток выходит!

– Товарищ Степанов косить не будет.

– А что ж он будет делать всё-таки? Мошной груши околачивать? – округлил глаза Андриан. – Дак на то у нас своих охотников вдосталь! Вона, целый ТОЗ околачивателей!

– Смотри, Андриан! Договоришься! – зло крикнул председатель преобразуемого в колхоз ТОЗа Демьян Шапов. – На Советскую власть брехать будешь!

– Помилуйте, а я не знал, что ты да Поликушка сотоварищи власть! Вот, товарищ Фрумкин – я вижу, что власть. С одного взгляда вижу – и печати не надо. А в тебе, виноват, не признал! – склонил Андриан худую спину, отвешивая поклон. – Прости уж! Столько начальников стало, что всех не узнаешь!

– Только снохачей нам в начальствах не доставало! Срамотища... – ругнулся кто-то.

– За поклёп на власть под суд пойдёшь! – заорал задетый за живое Демьян. О нём вся деревня знала, что успел он пожить с обеими своими снохами, сынок старшей из которых явно не мог быть Шапову внуком, так как муж слабой до плотских утех бабы в то время служил в Красной армии. Поговаривали, что, чтобы помирить снох и жену, каждой из них он купил на ярмарке по дорогому гостинцу. Демьян в отличие от прочих ТОЗовцев бедняком не был, но наоборот имел приличный достаток. Но из-за своего снохачества оказался среди мужиков изгоем. Ни на каком сходе не давали ему слова, презрительно шпыняя. Ничего не осталось Шапову, как стать первым среди голытьбы, чтобы не быть последним в кругу хозяев...

На другой день пошло вновь прибывшее начальство проводить частные беседы. Заглянули и к Игнату всё тем же составом: чернявый, губошлёпистый Фрумкин, рабочий с пудовыми кулаками да ершистый, нахохлившийся Демьян. Катерина гостей попотчевала на совесть, пожелав им за глаза подавиться её стряпнёй, а Игнат миролюбиво выслушал агитацию, обещав обдумать всё ещё раз самым серьёзным образом.

На другой день он, скрепя сердце, свёл жеребёнка колхозникам. Чувство было такое, словно на скотобойню отвёл резвую, лаптящуюся к хозяину животину. Даже слеза прошибла, как поцеловал на прощание в тёплую морду и последний кусочек сахара скормил.

Филипп такого «пожертвования» не понял:

– Где это видано, чтобы своё кровное разным побирушкам раздавать? У меня бы они шиша дождались!

– Так ведь силком возьмут, Мироныч. Или не помнишь, как они начинали?

– Пушай попробуют! Я с ружьём против них выйду!

– Не выйдешь, – отмахнулся Игнат.

– Это отчего ещё?

– Оттого, что детёв у тебя девять душ.

– Да если они против мужиков сызнава пойдут, так не один же я с ружьём окажусь! Мы своё отстоим, не сумлевайся!

– Годку эдак в восемнадцатом и я так думал. И с ружьишком мне по лесам привелось побродить. Только теперь не восемнадцатый, Мироныч. Тогда они ещё нетвёрдо на ногах стояли, а на юге да в Сибири их благородия им холку мылили. А теперь что?

– Да зачем им палку пригибать? Зачем до бунтов и кровопролития доводить? Захотели бы – дожали тогда!

– Тогда не сдюжили. А к тому дали баранам обрityм снова шерстью обрасти, чтобы теперь её уже со шкурой вместе снять... Дважды-то остричь – выгоднее! Так что смотри, Мироныч, кабы тебе с твоим острословом-братом на рожон не напороться.

– Чтобы ни было, а добром они от меня ничего не получат! – сказал Филипп, зло блеснув глазами. – Я не для того на мечту свою всю жизнь горбатился, чтобы им её в раззор отдать!

Шли самые чёрные дни в году. В канун Нового года власти окончательно закрыли церковь, запретив проводить в ней службы. Однако, одинокий старик-священник тихоновского толка на Рождество открыл храм и начал службу для тех немногих, в основном, баб, кто осме-

лился прийти. Окончить её не дали: ворвавшиеся чекисты и красноармейцы выгнали прихожанок вон, избив нескольких из них, и увезли в тюрьму батюшку, старого пономаря и ещё троих прихожан.

А несколько дней спустя, цедя поутру чай с блюдца, Игнат увидел в окно невообразимое: по дороге едва шёл его загнанный жеребец, гружёный какой-то поклажей, поверх которой восседал пропойца Ивашка Агеев, изо всех сил понукавший бедную животину. Этого зрелища уже не могла душа выдержать! Опротетью, не надев ни полушубка, ни валенок, выскочил Игнат на улицу, стащил, матерно ругая, Ивашку с лошади и, опрокинув в снег, расквасил ему опитушую физиономию. После этого он проворно освободил жеребца от поклажи, бросил пытающемуся снегом остановить хлещущую из носа кровь Агееву:

– На себе тащи, паразит! А коня не замай!

Ивашка поднялся и хотел было броситься на Игната, но его перехватил за пояс выбежавший из дому сын Матвейка. Агеев вывернулся, погрозил кулаком:

– Ужо я вам устрою, кулаки проклятые!

Дома завыла-запричитала Катя:

– И куда ж ты, старый, полез? Загубить всех нас решил? Детей бы, детей пожалел, дурачина ты!

– Не мог я видеть, как он моего коня увечит... – хмуро отвечал Игнат, понимая в душе, что жена права.

– А теперь он заявит на тебя! А им только этого и надо!

Игнат только глубоко вздохнул, а Катя засуетилась:

– Сейчас пойду к нему, паразиту, сальца снесу, настоечки своей, ещё чего...

– Не хватало ещё, чтобы ты перед разными Ивашками унижалась!

– А лучше мне вдовой с малолетними сиротами остаться? Молчи уже!

Что уж сказала Катя Ивашке и сколько продуктов снесла для его задабривания, Игнат не спрашивал. Но заявления Агеев подавать не стал, хотя не приходилось сомневаться – в свой час всё припомнит...

В конце января пришло из Москвы письмо от зятя, в котором тот в иносказательных выражениях настоятельно советовал немедленно уезжать из деревни во избежание беды. Игнат уже успел заметить, что Александр Порфирьевич не бросает слова на ветер. И если уж решился подобное письмо прислать, стало быть, дело серьёзное.

Вечером Игнат собрал домочадцев, включая Любашу с мужем, и объявил им о своём решении на время поехать погостить к старшему сыну:

– Месяц-другой поживём, а там уже и ясно станет, куда дальше: возвращаться или новое место искать.

Катерина, хотя и не без слёз, с необходимостью уехать согласилась. Матвей, единственная игнатовая опора – также. А, вот, зять отказался наотрез, затвердил, как Филипп:

– Никуда мы из родного дома не поедем. Хозяйство опять же – как бросить? Да и отец не одобрит.

Игнат, стараясь заглушить охватившую его тоску, посмотрел на Любашу. Расцвела девка! Бела да румяна, коса в руку толщиной... По рождении дитяти лишь ещё налилась красотой. Катя в молодые годы хороша была, а Любаша краше! Страшно было оставлять её, а куда денешься? Жену от мужа не оторвёшь... А она утешала:

– Ты не бойся за нас. Ничего с нами не случится! Себя береги и маму! – и обнимала ласково, целовала в морщинистые щёки. И от этих утешений-уверений ещё тяжелее делалось...

Одному рад был Игнат, что все эти тучные годы не вещами обрастал, а берёг копейку – теперь сбережения эти куда как кстати оказались.

Уезжать решили в ночь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Дом и всё имущество, какое нельзя было забрать с собой, оставили Наталье Терентьевне, наказав всё, что не понадобится ей самой, отдать треклятому колхозу от греха.

Горько было бедной учительнице оставаться одной. Уже отлетели молодые её годы, а так и не нашла она себе друга по сердцу. И чувствовалось, что не найдёт. Школьную работу Наталья Терентьевна не раз хотела оставить – не поворачивался язык лгать детям. Сетовала бедняжка:

– Учитель должен воспитывать души. Ему ведь верят... Как же я могу детям, мне верящим, лгать, твердя догмы, которые меня обязывают твердить? Одни примут это, как правду, и станут жить, согласно ей. То есть во лжи... И я виновата в этом буду! Другие наоборот не поверят и станут презирать меня за то, что я им лгу. И как же мне им в глаза смотреть?

Наталья Терентьевна любила поэзию. Немало замечательного привелось услышать Игнату на склоне лет из её уст. Именно это, прекрасное, хотела она открывать детям. А ей не давали! Вычеркнули из курса школьной литературы всех поголовно писателей русских, не пощадив и Пушкина. А на их место поставили своих – Демьяшку Бедного и прочих вчерашних пролетариев, которых теперь стали специально учить на писателей и поэтов, словно бы Божию дару можно было научить. Горько страдала Наталья Терентьевна, вынужденная на уроках знакомить детей с «творчеством» таких новоявленные «мастеров пера», как Лебединский и прочие. Лишь в организованном на добровольных началах кружке находила она отдохновение, освобождаясь от «обязаловки» и, наконец, вводя своих подопечных в мир настоящей русской литературы. Эта инициативность, впрочем, не находила поддержки начальства, и Наталья Терентьевна постоянно боялась, что кружок закроют.

В ночь накануне отъезда Игнат растолкал Матвейку. Оставалось последнее дело, которое, несмотря на опасность, нужно было исполнить. Перед памятной рождественской службой, на которую Игнат, несмотря на тесную дружбу с отцом Алексием, не рискнул пойти, он был у батюшки и обещал в случае его ареста вынести из церкви священные сосуды, не оставив их на осквернение.

В полной темноте, не рассеиваемой даже скрывшимся за тучами месяцем, Игнат с сыном пробрался к церкви и, осторожно отомкнув её, проник внутрь, оставив Матвейку снаружи. Затепив взятую с собой свечу, он быстро отыскал всё, о чём говорил ему отец Алексий, и, в последний раз перекрестившись на образ Нерукотворного Спаса, поспешил в обратный путь.

Скрывать спасённое в доме или амбаре было категорически нельзя, чтобы не подвести в случае обыска Наталью Терентьевну. Поэтому ещё раньше Игнат вырыл на заднем дворе, под раскидистой черёмухой небольшую из-за неподатливости промёрзшей земли яму, в которой и спрятал деревянный ящик со священными предметами. На всякий случай показал место учительнице:

– Если не свидимся больше, дочка, то гляди сама. Если появится настоящий священник, каким отец Алексий был, отдай всё это ему. А нет, так накажи кому помнить место...

Утром Игнат съездил в райцентр и оттуда отправил телеграмму дочери, чтобы ждала в гости. А ночью, едва погасли в деревне последние огни, тронулись в путь, провожаемые лишь заплаканной Натальей Терентьевной и скулящим Архипкой. Второй раз на старости лет приходилось бросать всё нажитое и начинать жизнь заново. Но больше этого тяготила судьба покидаемой Любушки. Не защитит её Филипп, если нагрянет беда. И он, и сын его, что дубы. В ровную погоду нет деревьев более могучих, чем они. А налетит ураган и вырвет их с корнем... Именно такой ураган шёл на деревню, чтобы уничтожить самые могучие деревья и погнуть, изломать, искалечить все прочие. И от этого сознания больно и страшно становилось Игнату, как ещё не бывало прежде.

## Глава 5. В медвежьем углу

Февраль юрил вовсю, так швырял хлопьями колючего снега, так кружил и заворачивал, что становилось тревожно: ну как заплутает измученная каурка в беспутье? Пропадай тогда?.. Хотя и то добро, что с лошадьёю свезло, не то бы топать на своих двоих в этакой крути, или на лыжах... На счастье железная дорога рядом, ей следуя, удлинялся путь, зато риск заплутать снижался немало.

Как ни привык Надёжин к сельской местности, а то и дело вздыхалось о тихой жизни в Перми, оставленной несколькими месяцами назад. В Двадцать девятом покатались окрест аресты «викториан». Среди первых взяли матушку Феофанию, провозглашённую основательницей «викторианства» в Сивинском районе, и игуменью Усть-Клюкинского монастыря Митрофанию, поддерживавших связь с сосланным на Соловки владыкой Виктором. У близкого к ним отца Филиппа Сычёва при обыске нашли антисоветские стихи:

Все попы наши сдурели,  
Стали Бога забывать.  
На молитвах захотели  
Коммунистов поминать.  
...  
Батьки с нежностью припали  
Под советскую звезду,  
Но их власти осмеяли,  
Не приняли в ГПУ.  
Попы правду потеряли  
На свой вечный стыд и срам,  
Церковь божию предали

На посмешище бесам...

Следом по делу «контр-революционной организации церковников «ИПЦ»» прошла череда арестов «викторианского» духовенства. Чистка была столь тщательной, что лишь несколько священников ещё оставались на свободе и поддерживали связь друг с другом через наиболее ревностных и отважных мирян. Большинство арестованных были пастырями сельскими, и нередко одним из пунктов обвинений против них была агитация против колхозов. Обвинение это, по существу, было справедливым. В колхозе батюшки и верные миряне видели очередную сатанинскую уловку для порабощения человеческого духа, для выхолащивания его, для обращения живого человека, наделённого умом и совестью, в бездушный винтик адской машины.

Не миновал чёрный вал и Слудской церкви. Отец Леонид был арестован, а сама церковь закрыта. Алексей Васильевич, бывший одним из ближайших к батюшке людей, ежечасно ожидал ареста. До недавнего времени административно ссыльный, он был как нельзя более подходящей кандидатурой на получение очередного, уже серьёзного срока.

Однако покрыл на сей раз неведомый Ангел-Хранитель, и тяжёлые ворота, однажды выпустившие Надёжина в мир, не проглотили его обратно. Тем не менее, Алексей Васильевич решил, что дальнейшее пребывание в Перми может быть опасно. Нужно было искать новое пристанище...

Окончание срока ссылки давало право вернуться в Москву, но Надёжин понимал, что там он недолго останется на свободе. Необходимо было затеряться в глуши, подальше от центра, от бдительного ока.

Ещё путешествуя по Пермскому краю для встреч с разрозненными «викторианами», Алексей Васильевич остановил своё внимание на совхозе «Светлый путь». Образовавшийся ещё в начале двадцатых, он нешатко-невалко существовал все эти годы, не радуясь изобилию, но и не нищая вконец, как многие другие, что свидетельствовало о добросовестности его начальства. Пантелей Гаврилович Сорокин, председатель совхоза, был мужик вдовый, серьёзный, знающий крестьянское дело. В партии он состоял с семнадцатого года, но партбилет не заменил ему совести, а романтическая вера в идеалы коммунизма не лишили его хозяйского толка. Был Пантелей странным типом смешанного человека: ещё глубоко русского, но в то же время – идейного коммуниста, настоящего, а не приспособленца.

В его-то вотчину и направил свои стопы Надёжин. Сорокину нужен был фельдшер для медпункта, и он с радостью принял на эту должность Марочку. Алексею Васильевичу с его судимостью и открытым исповеданием веры о педагогической деятельности, конечно, можно было не вспоминать. Да и не хотелось, учитывая кошмарное содержание школьного курса – волосы дыбом становились, когда узнавал, чему обучали его собственных детей... Должность при совхозе Надёжину всё же нашлась. Аккурат в ту пору замёрз по пьяному делу местный почталён, развозивший газеты и письма на многие-многие вёрсты вокруг.

Так и зажили в «Светлом пути» в выделенной маленькой избёнке: дети учились, Марочка, сперва принятая людьми насторожённо, но вскоре расположившая их к себе своим неиссякаемым участием и умелостью, врачевала тела и души, а Алексей Васильевич целыми днями ходил и ездил по окрестным весям. Молиться можно теперь было лишь дома, таясь. Только на крещенской неделе Марочка, отговорившись срочным делом в Перми, съездила в вятское село Люмпанур к отцу Василию Попову, одному из последних «викторианских» пастырей, оставшихся на свободе.

Угнетала Алексея Васильевича тревога о судьбе детей. Какое будущее у них? Дети лишенца, не состоящие в пионерах, верующие (сколько раз из-за обид, чинимых ей за это, плакала Маруся!)... Маруся уже в возраст вошла, семь классов дозволенных окончила, а куда дальше, спрашивается? По слёзным просьбам её и скрепя сердце, отпустил в Москву. Там Аглая обещала похлопотать, не дать девочке пропасть. Маруся мечтала стать врачом, и Аглая представила её своему соседу доктору Григорьеву. Тот для начала определил её заниматься обработкой медицинских карт и составлением на их основе статистических таблиц, что дало небольшой, но твёрдый оклад. В перспективе доктор обещал устроить девочку сперва на курсы, а там, если удастся, и в институт.

Оставался ещё Саня, самый младший, самый болезненный и самый любимый. В отличие от Маруси он мечтал заниматься наукой, путешествовать. Более всего влекла его геология, и по этой стезе он надеялся пойти. Ближе к лету Саня решил вслед за сестрой ехать в Москву – искать себе применение. Но Надёжин знал точно: не только в поисках своего пути, работы рвётся туда сын. Ни работа, ни место никогда не притягивают человека так, как другой человек. И в Москве такой человек жил. Аня... Будучи старше, Саня относился к ней с особой заботой, был для неё защитником и опорой. И, видимо, роль верного рыцаря особенно воодушевляла хрупкого мальчика. С тринадцати лет он писал ей длинные письма, посылал подарки, сделанные собственноручно, а, когда она приезжала, не отходил от неё ни на шаг, выполнял любое её пожелание. Надёжин настороженно относился к такому благоговению. Он ясно видел, что девочка пока не способна понять и оценить питаемых к ней чувств. И более того, привыкая к повышенному вниманию и услужливости Сани, начинает принимать её, как должное. Аня видела в нём старшего брата, доброго и отзывчивого друга, которому можно всё рассказать, обо всём попросить, и при этом не быть ничего должной самой, не церемониться. Такие одно-

сторонние отношения редко ведут ко благу, и Алексей Васильевич опасался, что сыну суждено будет испытать горькое и болезненное разочарование.

Метель стала постепенно стихать, и Надёжин придержал лошадь, давая отдых себе и ей и стараясь сориентироваться в пространстве.

– Чего ты, Васильич, башкой вертишь? – пробасил из поднятого до ушей ворота тулупа Пантелей, с которым случилось им возвращаться в совхоз вместе. – Не бойсь, не сбились. Вишь, рельсы на месте – стало быть, верным курсом идём, – он соскочил в снег, подошёл к лошади, покачал головой: – Кобылу-то запалили мы с тобой совсем. Чего доброго околет – с нас с тобой голову сымут, что имущество не бережём.

– В соседнем совхозе в прошлом году половина коров издохло, что-то ни с кого не то что головы, но и порток не сняли, – заметил Алексей Васильевич.

– Так там Голованов председателя райкома самолично парит, свинину ему пудами шлёт. Проверяющих тоже не забижает...

– А ты забижаешь?

– А я стараюсь, чтоб им, стервям, придраться не к чему было. Мы в нашем совхозе, конечно, салом не обрастаем, но и не побираемся, как некоторые. Мне, между прочим, ни копейки дотаций государство не давало ещё! Я, может, на всю губернию такой один! – гордо сказал Пантелей.

– Ну да... Только Митька Голованов тот год орден в Москве получал, а ты нагоняй по шее...

– Ладно, – нахмурился Сорокин, – знаю я твою политграмоту. Не любя тебе наша власть! Так прямо и сквозит в тебе это! Я тебя сразу раскусил!

– Не отрицаю, не любя. Только что ж ты не погнал нас, если раскусил?

– А тогда мне кажинного второго придётся за шкуру хватать и гнать.

– Так и делается.

– Хреново делается, Васильич. Хреново. Я всю гражданскую с беляками воевал, своей кровью эту власть устанавливал. Поэтому мне её несурезицы нож острый, понимаешь? Словно бы я за них ответчик... Я не спрашиваю тебя, каких ты убеждений. Сам догадаться могу. Году в восемнадцатом, встретиться мы в чистом поле, я б, должно, изрубил тебя. А сейчас взял, потому что вижу: ты человек честный. А я за последнее время столько своих гнид насмотрелся, что чужую порядочность ценить стал. Самому противно бывает, – Пантелей помолчал. – Ладно, слазь, что ль. Дальше пешком пойдём, кобыле роздых нужен.

Надёжин тяжело пошёл рядом с лошадью, проваливаясь по колена в снег. Внезапно он заметил впереди странное движение: навстречу, прямо вдоль железнодорожного полотна, шли друг за другом измученные, оборванные люди. Мужчины и женщины, старики и дети, они едва переставляли ноги. Кто-то падал на землю, полз, поднимался и шёл опять, вновь падал. Слышался надсадный кашель, женский похожий на протяжный вой плач, детские всхлипы...

Какой-то старик в обмотках на обмороженных ногах хрипло закашлялся, упал, харкая кровью, в снег. Подошедший конвойный со злобой пнул его в костлявую спину:

– А, ну, шагай, кулацкое отродье!

Старик заплакал, заслоняясь от ударов:

– Какой я тебе кулак? Я булки всю жизнь пёк, людей кормил... За что?!...

Этим пронзительным «за что» словно пронизана была вся атмосфера вокруг. Казалось, вся земля должна не выдержать и взорваться от него, скрыв в провале и палачей и жертв. Но нет, также бел и безмятежен был снег, также равнодушно небо.

– Не могу я дольше идти! Лучше здесь пристрели!

Сердце оборвалось: неужто застрелят? Надёжин покосился на Сорокина, и тот быстро схватил его за плечо:

– Только высунуться не вздумай. Им не поможешь, а нас погубишь безвозвратно.

Смотреть, как истязают невинного – подлость. Но вмешаться без надежды на успех и тем обречь других – что есть это? В подлой системе, как ни повернись, то всё одно, хоть на крупицу, но окажешься причастным подлости...

– А ну, тащите его! – велел конвоир двум дюжим мужикам, и те покорно подняли старика и понесли его.

А позади уже слышался надрывающий душу вой: что-то растрёпанное и страшное пласталось, точно в припадке падучей, по снегу. А рядом недвижимо лежало другое – маленькое, проходя мимо которого люди замедляли шаг и крестились.

– Пошла! Пошла! – грубый окрик, и обезумевшая баба кидается к конвоиру, хрипит отчаянно, норовя схватить его за руки:

– Похоронить! Похоронить дайте! По-хо-ро-нить... дитё!..

– Времени нет твоего кулацкого выродка хоронить! Пусть его звери жрут!

– Будь ты проклят! Будь ты проклят! – страшно кричит баба, вздымая руки. – И дети твои, и внуки! Чтобы вы сдохли все!...

Надёжин в ужасе наблюдал за происходящим. Сколько, сколько проклятий таких ежедневно, ежечасно слетает с уст, извергается из самых недр истерзанных сердец. В тюрьмах и лагерях, в расстрельных подвалах и соловецких пыточных, на пересылках, в забитых до предела эшелонах, в воронках, на этапах, в колхозах и ссылках, на «великих стройках» и несть числа, где ещё. Вопль целого народа, страны целой к небу – проклинающий! И таким-то проклятиям не оставить следа? Год за годом переполняют они атмосферу, понижают духовную ткань, в которой придётся жить далёким потомкам. На проклятой земле, вопиющей об отмене, проклятые сами, как потомки, как невольные соучастники, как забывшие и предавшие, как оправдавшие преступление и принявшие печать лжи... Страшно жить в атмосфере проклятия! И каким же светоносным силам надо будет включиться, чтобы изгладить его!..

Ползла и ползла чёрная вереница растерзанных людей с почерневшими, полными муки лицами по белому снегу. Недавно у них были дома, была земля, была жизнь. А теперь их вырвали с корнем и обрекли медленной и мучительной смерти. За что? За что? *За что?*

– Это раскулаченные, – шёпотом сказал Пантелей. – Их высадили с поезда на ближайшей станции.

– Это же сто километров!

– Ровно.

– И куда их теперь?

– На лесозаготовки. Приведут в лес, выбросят их пожитки на снег, под деревьями. Чтобы не замерзнуть, эти люди должны будут сразу же развести костры, нарубить деревьев и построить какой-нибудь барак для себя: жилья для них никто не приготовил... Потом они целыми днями будут работать на лесозаготовках, а ночевать – в этих самодельных бараках. Последнее время такие группы прибывают к нам в ссылку постоянно.

– А в нашей области что же?

– наших кулаков ссылают подальше, на Дальний Восток...

– А знаешь, Гаврилыч, за всю свою жизнь я не испытывал такого невыносимого желания убить, как сейчас...

– Это гада-то, что дитё схоронить не дал?

– Убить... – повторил Надёжин, едва разжимая губы. – Такие не должны, не имеют права по земле ходить... – он зачерпнул рукой снег и протёр лицо.

Колонна раскулаченных прошла. Алексей Васильевич посмотрел ей вслед:

– Ты знаешь, куда точно их отправляют?

– Как не знать? Знаю. А тебе что? Уймись, Васильич. Мы им помочь не можем.

– Среди них дети, больные, старики!

– На все рты харчей не напасёшься! У меня они к тому же все, сам знаешь, на учёте. Если что, самого сошлют. На Дальний Восток.

– Я не могу так... – Надёжин покачал головой. – Надо поговорить с Марочкой. Может, хоть чем-то, хоть кому-то мы сможем помочь... – его взгляд упал на заматаемый снегом маленький кулёк. – А ребёнка надо похоронить, Пантелей.

– Делай, как знаешь, – Сорокин передёрнул плечами. – Только меня не путай. И так, того гляди, в какие-нибудь правые уклонисты запишут...

– Ладно, Пантелей, поезжай. А я дойду сам...

Сорокин уехал, а Алексей Васильевич склонился над посиневшим, обтянутым кожей крохотным скелетом, завёрнутым в тряпье. Когда-то лучшие умы спорили о слезинке ребёнка... Теперь на костях и муках миллионов детей избивающие младенцев ироды обещали построить рай для всего человечества. И ничто не содрогается: ни земля, попираемая убийцами и орошаемая слезами жертв, ни небо, к которому устремляются молитвы и проклятья, ни столь чуткие к несправедливости «гуманисты»...

Вспомнилось, как радовались многие, когда Сталин разделался с кликой Троцкого и объявил негодным его проект устройства деревни. Тот проект, оглашённый автором на IX съезде партии, предполагал мобилизацию крестьян в трудовые армии, превращение их в «солдат труда», с наказанием за ослушание – вплоть до «заключения в концентрационные лагеря». Но отсёк Сталин: не станем, дескать, возвращаться к пагубной практике военного коммунизма и продрозвёрсток и будем не по лекалам Льва Давидовича деревню преобразовывать, а как требует разум. Сказал «великий вождь» и тотчас кликнул для разработки «разумных» преобразований – кого ж? А никого иного, как ближайшего подручного Троцкого, тот самый напоказ отвергнутый проект с ним и готовившего – товарища Эпштейна, замаскировавшегося под Яковлева.

Яков Аркадьевич, совмещая посты наркомзема, заведующего сельхозотделом ЦК и председателя комиссии по переустройству деревни взялся за дело с неукротимой энергией. Взялся, разумеется, не один, а совместно с другими товарищами: своим замом по наркомату Фейгиным, членами комиссии Вольфом и Рошалем, председателем Колхозцентра Беленьким, председателем Комитета заготовок Клейнером, руководителями внутренней торговли и «Экспортхлеба» Вейцером и Кисиним, председателем рабоче-крестьянской инспекции Розитом и другими «специалистами» в области сельского хозяйства...

Свой план «переустройства» представили они аккурат накануне нового года. Суть его сводилось к скорейшему переселению семей «кулаков» в отдаленные районы Севера и Сибири РСФСР. По этому проекту с 1930 года предназначались для выселения из мест прежнего проживания – без малого два с половиной миллиона душ. И не абы каких душ, а самых крепких и работающих русских мужиков с жёнами и детьми. Без лишних прикрас разнарядку по проценту выселяемых на республики состряпали: доля РСФСР – 79%; доля Украины – 17%; доля Белоруссии – 4%... Так, с дьявольской дотошностью выношен был проект уничтожения русского мира, ядра русского народа, невозможного вперёд на века. И месяц спустя одобрил его «великий вождь», повелев «уничтожить кулака, как класса».

Ещё до официального объявления о сплошной коллективизации газеты возопили в один голос против «кулаков»: подлейшие «Известия» и не менее гнусный кольцовский «Огонёк», лживая насквозь «Правда» и рупор Эпштейна крицмановский «На аграрном фронте»...

И начались в деревнях очередные страхи и ужасы, очень похожие на те, что описал когда-то большевистский рифмоплёт Багрицкий:

По оврагам и по скатам  
Коган волком рыщет,  
Залезает носом в хаты,

Которые чище.  
Глянет вправо, глянет влево,  
Засопит сердито:  
Выгребайте из канавы  
Спрятанное жито!..

Рыскали! Ещё как рыскали! Наркомземовские уполномоченные, алчная деревенская беднота, двадцатипятидесятники и... ОГПУ. Без ведомства Менжинского и Ягоды невозможно было проводить «сплошную». Именно карательные органы обеспечивали её, не допуская или подавляя в зачатке всякое сопротивление. Генриху Ягоде принадлежала жуткая директива от второго февраля 1930 года об аресте шестидесяти тысяч кулаков. Рапорты об ее исполнении ложились ему на стол ежедневно. Уже через две недели директива эта была исполнена...

Веками крестьянство было становым хребтом русского народа. А основой самого крестьянства были большие, крепкие семьи, состоявшие из трёх поколений. Врастая в родную землю, живя и трудясь на ней век за веком, они обеспечивали ровное и нерушимое развитие русского народа. И, вот, страшной зимой Тридцатого года решено было покончить с ними.

Долгих разбирательств не устраивали. Если не было в селе никого, кого хоть каким-то образом можно было отнести к «кулакам», брали самого зажиточного мужика, вышвыривали в снег со всей фамилией, запечатывали дом... Тут же делили вещи из его сундуков, уводили перепуганную скотину. И напрасно плакали дети, напрасно выли, моля о пощаде бабы, напрасно хватались за вилы отдельные мужики. Если кто и жалел их, то не смел этой жалости выказать, чтобы не записали в «подкулачники».

А дальше тянулись из деревень скорбные подводы, которые какому Сурикову суждено написать однажды? Подводы с людьми, у которых отняли всё, чьих детей обрекли на голодную и холодную смерть, раздавленными и оклеветанными... И ещё же находились такие, что шипели вслед, только что напялив на себя украденное из сундуков барахло: «Кулацкое отродье!»

Кое-кому везло быть сосланными в соседние районы и области – не указал «вождь», куда именно сослать. Других сутками, неделями везли в холодных вагонах, в которых оставались навсегда многие старики и дети, а затем, не дав схоронить умерших, гнали по снегу к месту ссылки... Кто-то попадал в спецпоселения, на лесоповал. Кто-то мыкался, ища пропитания, по северным городам, запруживая улицы Архангельска, Котласа и других. Потерянные люди без завтрашнего дня, отверженные всеми, они зачастую просто теряли способность к борьбе за жизнь и, потеряв её, умирали, оставались лежать посреди дорог, не оплаканные, так как у их близких больше не было слёз.

А с высоких трибун гремели о достижениях колхозов, о происках вредителей и «кулаков», славили «ударников» и призывали, и зазывали. И словно издеваясь, рассуждал «великий вождь» о прежнем рабском положении крестьянки. Крестьянка, утверждал Иосиф Виссарионович, всегда была рабыней мужа, и лишь колхоз даёт ей свободу. Отныне станет она сама себе хозяйка и будет работать только на себя!

Крестьянство, хранящее в себе вековые традиции и уклад, всегда было бельмом на глазу «прогрессистов». «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса причислял крестьян к самым реакционным слоям мелких собственников, которые хотят повернуть колесо истории назад. И не кто-нибудь, а самолично Энгельс именовал сельских жителей не иначе как «варварской расой». А ещё раньше французские якобинцы аттестовали крестьян, как «свинский сброд, отвратительных диких животных, подлежащих истреблению». Именно крестьянство, «кондовое» и «неразвитое», отвергло некогда якобинские бесчинства, восстав против них в Вандее и других областях Франции. Надругательство над церковью и её служителями, убий-

ство короля, разрушение традиционного уклада жизни – всё это заставило крестьян сражаться бок о бок с дворянами против новой власти.

История вандейского восстания стала одной из самых трагических и в то же время прекрасных страниц французской истории, благодаря высоте и чистоте подвига вандейцев. Уничтожаемые без жалости, они сумели сохранять в своих сердцах христианское милосердие и благородство. Так, умирающий генерал де Боншан повелел отпустить пять тысяч пленных, прошептав: «Ведь они тоже французы...»

Так мог поступить благородный человек, дворянин, настоящий патриот Франции. Но никогда – якобинец. Слова якобинца были иными: «Вандея больше не существует ...я похоронил её в лесах и болотах Саване... По вашему приказу я давил их детей копытами лошадей; я резал их женщин, чтобы они больше не могли родить бандитов. Меня нельзя упрекнуть в том, что я взял хоть одного пленного. Я истребил их всех. Дороги усыпаны трупами. Под Саване бандиты подходили без остановки, сдаваясь, а мы их без остановки расстреливали... Милосердие – не революционное чувство...» – так докладывал Конвенту приближённый к Дантону генерал Вестерман.

Его некогда тихий, благословенный уголок сельской Франции запомнил надолго, равно как и генерала Тюрро с его адскими колоннами, истреблявшими на своем пути дома, селения, леса, насилувавшими женщин и детей, без счёта расстреливавшими пленных. «Вандея должна стать национальным кладбищем», – говорил Тюрро и уже не войну вёл, но просто мстил непокорным деревням, обращая их в огромные братские могилы. Десятки тысяч крестьян были расстреляны, гильотинированы, сожжены заживо, заморены голодом, утоплены в баржах, которые Тюрро придумал использовать, как устройство для многоразовых массовых казней... Гимн кровавой Республики отбивали на барабанах обтянутых человеческой кожей, из которой не брезговали делать и иные вещи, в том числе – предметы одежды.

В России у Вестермана и Тюрро нашлись достойные последователи. С такой же яростью несколько лет назад вчерашний подпоручик Тухачевский поголовно уничтожал крестьян Тамбовской губернии, поднявших восстание против большевиков. По его плану в губернии был введён *режим оккупации*. Семьи повстанцев лишались имущества и заключались во временные концентрационные лагеря. Число заключённых исчислялось десятками тысяч. В случае, если повстанец не сдавался в течение двух недель, его семья депортировалась в отдалённые северные области. Позже к этому добавилась практика массовых расстрелов заложников и, наконец, впервые в мировой истории – применение ядовитых газов против населения собственной страны. Подавлением Тамбовского восстания руководили кроме Тухачевского многие видные большевистские военачальники – Уборевич, Ульрих, Котовский...

Имея перед глазами столь яркий пример, как история революции французской, ничуть не усомнился товарищ Горький отнести жестокость революции российской исключительно на счёт «природной жестокости русского народа». Русского мужика Алексей Максимович ненавидел яростно. Эта ненависть так и сочилась со страниц его произведений, большинство из которых не имело ни малейшего отношения к литературе, а являлось лишь бездарными политическими памфлетами.

Когда-то юный босяк-агитатор Алёша Пешков с молодым задором ринулся в деревню и стал нахраписто пропагандировать мужикам революцию. Мужики, известное дело, таких сопливых «учителей» видали, а потому ограничились тем, что вполне по-отечески отходили Алёшу по мягким и не очень частям тела, дабы выбить дурь и наперёд отучить заниматься ересью. Алёша был столь оскорблён сим досадным обстоятельством в начале своей политической карьеры, что затаил на мужика великий зуб. С той поры он приписывал крестьянству все возможные и невозможные грехи и в годы гражданской войны сетовал лишь об одном: что большевики приносят «героическую рать рабочих и всю искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству».

Патологическую ненависть Пешков питал, впрочем, отнюдь не только к крестьянству, но и к русскому народу в целом. В его помрачённом взгляде вся русская жизнь виделась одной сплошной «свинцовой мерзостью», а причина всех бед заключалась, согласно «буревестнику» во врожденной порочности самой России и русского человека. Чего только ни приписал Алексей Максимович русскому народу! И что русская душа по самой природе своей «труслива» и «болезненно зла», и что русскому народу присуща «садистическая жестокость», тонкая и дьявольски изощрённая, воспитанная «чтением житий святых великомучеников»... «Кто более жесток: белые или красные? – патетически задавался вопросом великий «гуманист» и отвечал: – Вероятно – одинаково, ведь и те и другие – русские»... Замечание относительно происхождения авторов террора вызвали у Пешкова яростный протест: «Когда в «зверствах» обвиняют вождей революции – группу наиболее активной интеллигенции – я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий...» К таковым Алексей Максимович относил тех, «кто взял на себя каторжную, Геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни», их «великий пролетарский писатель» не мог считать «мучителями народа», но «скорее жертвами» его.

Этот человек большую часть жизни прожил за границей. При Царе, живя в роскоши на Капри, он щедро финансировал как идейную сторону революции в виде большевистских газет, так и практическую – в форме террора. При своей власти Пешков отчего-то не пожелал наслаждаться её благами, а вновь поселился в Италии, откуда строчил и строчил в советские газеты мерзкие статьи. Не было русской беды, к которой не приложил бы Алексей Максимович своего пера. Не было жертвы, которую он ни подтолкнул бы навстречу палачу. Не было преступления, которое ни поддержал бы он и ни воспел.

Самым удачным портретом русского Пешков считал Фёдора Павловича Карамазова. Участь ненавистного народа великий «гуманист» видел в одном: «... как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень – все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и место их займет новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей».

Эта пешковско-смердяковская риторика, в сущности, составляла существо правящей идеологии, изливавшейся на всяком съезде. Ещё приснопамятный Владимир Ильич брезгливо каркал о «великорусской швали», прямо провозглашая: «...При таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке...». «Каленым железом прижечь всюду, где есть хотя бы намек на великодержавный шовинизм...» – призывал следом петроградский палач, убийца Гумилёва Григорий Зиновьев. Не отставал и балансирующий теперь на грани опалы «либеральный» Бухарин: «Мы, в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям».

На таких идеологических императивах с первых месяцев утверждения большевистской власти строилась коммунистическая национальная политика... Съезд же десятый ярче всего отразил её суть. Делегаты были обеспокоены судьбой окраин, страждущих под гнётом «великорусской швали» малых народов. Сменяли друг друга ораторы, обличая «русского кулака», захватывающего земли и выгодные экономические позиции в Туркестане, на Северном Кавказе, в Закавказье, в Башкирии, в Киргизстане, что якобы приводит к культурной отсталости и вымиранию кочевников. Клеймили беспощадно царское правительство, отдавшее лучшие земли на Кавказе и в Средней Азии казачьему и русскому переселенческому кулачеству, сотни тысяч которого «создали живую силу империализма». Первейшей задачей революции объяв-

лялась «последовательная ликвидация всех остатков национального неравенства, восстановление трудовых прав на землю коренного населения за счет колонизаторского кулачества, всемерная помощь кочевникам для перехода их в оседлое состояние».

Иосиф Джугашвили, сокрушаясь о «неимоверных страданиях» «обречённых на вымирание» помещиками и капиталистами «загнанных народов», заявлял в своей речи: «Суть этого неравенства национальностей состоит в том, что мы, в силу исторического развития, получили от прошлого наследство, по которому одна национальность, именно великоросская, оказалась более развитой в политическом и промышленном отношении, чем другие национальности. Отсюда фактическое неравенство, которое не может быть изжито в один год, но которое должно быть изжито путем оказания хозяйственной, политической и культурной помощи отсталым национальностям.

Суть национального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить ту отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) национальностей, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях».

При традиционной ненависти к национальности великорусской Джугашвили с большой чуткостью отозвался о национальности украинской: «А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская национальность – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы.

Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же можно сказать о тех городах Украины, которые носят русский характер и которые будут украинизированы, потому что города растут за счет деревни. Деревня – это хранительница украинского языка, и он войдет во все украинские города как господствующий элемент.

То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают небелорусы. Верно, что белорусские массы, пока что не очень живо, так сказать, не с очень большим интересом относятся к вопросу развития их национальной культуры, но, несомненно, что через несколько лет, по мере того как мы апеллируем к низам белорусским, будем говорить с ними на том языке, который им понятен прежде всего, – естественно, что через год-два-три вопрос о развитии национальной культуры на родном языке примет характер первостепенной важности».

На том памятном съезде была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: «Теперь, когда помещики и буржуазия свергнуты, а Советская власть провозглашена народными массами и в этих странах, задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные...»

Представитель Туркестана Сафаров дополнил: «На многих окраинах это русское великодержавное кулачье далеко еще не ликвидировано. Об этом говорится более или менее подробно в тезисах т. Сталина. Дальше нужно отметить совершенно определенно, чего не нужно делать на окраинах. Здесь я предлагаю вставить следующее: «...решительно нужно предостеречь против слепого подражания образцам центральной Советской России, при проведении хлебной монополии на окраинах, и связать проведение здесь хлебной разверстки не на словах, а на деле с политикой классового расслоения отсталой туземной среды. Всякое

механическое пересаживание экономических мероприятий центральной России, годных лишь для более высокой ступени хозяйственного развития, на окраины должно быть определенно отвергнуто».

Поправка Сафарова была принята. Развёрстка и прочие «прогрессивные меры», разумеется,годились лишь для «великорусского кулацкого элемента», «угнетённые» же им народы нуждались в заботе, культурном развитии, тонком психологическом подходе.

Авгиевыми конюшнями для этих существ была вся Россия, а навозом – всё русское, что ещё оставалось в ней. По нему-то и наносился в наступившем Тридцатом году единовременный удар с разных сторон. С конца Двадцать девятого пошла очередная волна массовых арестов «неприсягнувшего», пользуясь французской терминологией, духовенства и мирян и закрытий ещё оставшихся церквей. Идеологом этого процесса, как прежде, выступал Губельман-Ярославский, заплёвывающий газетные передовицы ненавистью ко всему православному и русскому. В то же время развернулся погром памятников – погром русской памяти, возглавленный в Москве Лазарем Кагановичем. И, вот, последним ударом опрокинули руками Эпштейна-Яковлева в прах физическую основу русского мира – крестьянство...

Наряду с этим была ставка на развитие, разжигание местечковых национализмов при полном подавлении национального самосознания русского народа. В этом самосознании виделась большевикам угроза самая большая, его надлежало заглушить всемерно. И старались: рушили храмы, истребляли Бога в душах, подменяя его коммунистическим идолом, вытесняли русскую культуру так называемой культурой советской. Цель была: обратить русский народ в бесформенную, обезличенную массу, забывшую своё имя (*белых негров*, как откровенно выражался Троцкий), в *табор непомящих родства*, по меткому выражению, употреблённому ещё в начале века философом Львом Тихомировым. А для этого ещё раньше рекомендовал Бухарин – пропустить русский народ через концентрационные лагеря: «Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрела... является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Масса белых негров, беспмятных, бессловесных, марширующих покорно – вот, удел русского народа в представлении коммунистических идеологов.

Много страшных лет пережила Россия, и много, знать, ждёт её впереди. Но году 1930-му – не иметь равных в истории. Именно в этом году Иосиф Джугашвили вместе с Эпштейном, Губельманом и Кагановичем уничтожил духовную и физическую сердцевину русского мира и русского народа, на долгую перспективу, если не навсегда, отняв у него шансы на возрождение.

...А где-то в далёкой эмиграции некоторые потерявшие почву, растерянные русские люди полными надежд глазами впивались в лживые полосы советских газет и верили успехам и достижениям СССР, и гнались за призраком своей утраченной родины, ища его в кумачовых одеждах, и возвращались... Уж не затем ли, чтобы пополнить армию безымянных «строителей коммунизма» в серых робах за колючей проволокой?

Иногда Алексею Надёжину становилось не по себе от той пронзительной, резкой точности, с какой видел он суть происходящих событий и грядущее их развитие. Бывало, даже останавливал собственную мысль и не высказывал ничего близким, боясь, что предался прелести и принимает плоды воображения за прозрения. Но ни разу такие прозрения не бывали напрасными. Да и не прозрения были то, а всего лишь ясный и незамутнённый ничем взгляд, помноженный на знание истории и жизни.

До дома Алексей Васильевич добрёл уже в темноте и ещё издали увидел замершую на крыльце в тревожном ожидании фигуру.

– И зачем вы, Марочка, мёрзнете? Такой мороз на дворе! – укорливо покачал головой Надёжин, приближаясь.

Фигура с заметным облегчением обмякла, быстро открыла дверь:

– Мне мороз не страшен, а вы столько часов на нём! – уже при свете Марочка обеспокоенно вглядывалась в него, помогая раздеться. Наконец, успокоено заключила: – Жара нет, обморожений тоже – слава тебе Господи! – перекрестилась на закопченную икону в углу.

– Что мне поделается! – отмахнулся Алексей Васильевич. – Сорокин не заезжал?

– Заезжал и напугал меня. Сказал, что вы с ним встретили ссыльных, и вы задержались помочь. Больше ничего не объяснил...

– Помочь... – Надёжин горько усмехнулся. – Разве тут сможешь? Этих людей тысячи... А по России миллионы... И все они больны, все растоптаны, унижены... Я поделился бы кровом и куском с каждым из них, но как помочь миллионам? К тому же кто мне позволит, скажем, приютить хоть одну семью? Сразу запишут в пособники и отправят по этапу вместе с ними... Доброта и милосердие нынче караются хуже любого разбоя! Вот уж в самом деле антихристово время!

Марочка беспокойно покосилась за окна. От Алексея Васильевича не укрылось, что взволнована она не только его долгим отсутствием.

– У нас ничего не случилось? – осведомился он настороженно.

– Случилось... – Марочка опустила голову и, словно набрав воздуха в грудь, глухо известила: – Мишу арестовали... Маруся прислала письмо. Там ничего толком не понять. Видно, боялась писать открыто. Я думаю, это из-за церкви...

Надёжин медленно опустился на лавку, сложил замком руки и пригнул голову, стараясь сосредоточиться. Марочка тотчас села рядом, мягко опустила ладонь ему на плечо, сказала вкрадливо:

– Надо поехать кому-то... Узнать на месте, что и как. Похлопотать. Может быть, повезёт, и дело ограничится ссылкой. Тогда можно было бы как-то устроиться, чтобы нам всем вместе быть.

– Да, вы правы. Ехать необходимо, – согласился Алексей Васильевич.

– Кому же из нас? – тихо спросила Марочка.

Надёжин несколько мгновений подумал и кликнул:

– Саня, подойти к нам!

Сын тотчас показался из комнаты, вопросительно глядя из-под круглых, смешных очков.

– Ты окрестности хорошо изучил, геолог? – спросил Алексей Васильевич.

– Не хуже тебя, – равнодушно пожал плечами Саня.

– Значит, несколько дней справишься почту развозить?

– Делов-то! – снова пожал плечами сын.

– Вот и ладно, – кивнул Надёжин. – Завтра утром схожу к Пантелею, навру что-нибудь, для чего мне так приспичило в Москву и скажу, что Санька пока за меня потрудится. А вы, Марочка, подумайте, что и кому нам нужно передать в Москве и окрест. Если с Сорокиным сразу сговорюсь, то завтра же и поеду.

– Я всё приготовлю к вашему отъезду, – кивнула Марочка. Она старалась говорить спокойно, но и в голосе, и в бледном лице её угадывалась неизъяснимая тревога. Алексей Васильевич ободряюще погладил её по руке:

– Не печальтесь, Марочка. Мы с вами калачи тёртые, разве нет? Ничего со мной не случится. Во всяком случае, на этот раз. Съезжу, узнаю всё и вернусь. Давайте лучше помолимся о братьях наших пленённых, а после ужина на ночь почитаем что-нибудь из страстных Евангелий. Ничего так не успокаивает душу, как такое чтение...

## Глава 6. Бутырское сидение

Отчего звук открывающегося бесшумно волчка слышен всегда так пронзительно явственно? Оттого ли, что нервы напряжены до предела, и любой шорох кажется грохотом? И ещё этот спящий днём и ночью глаза свет... И запах... Этот запах не спутаешь ни с одним другим и не забудешь никогда: кисло-душный запах прожаренных тряпок, давно немых тел и приткнутой у окна параша... Вот, полез к ней кто-то, карабкаясь через переплетённые ноги сидящих или лежащих впритык друг к другу без возможности повернуться людей.

– Куда тебя понесло, мать твою? До оправки подождать не можешь, падло! – злобный рык, поддержанный дружным ворчанием вслед.

Миша поймал на себе затравленный взгляд молодого графа Путятин. Юноша на свою беду обладал больным желудком и болезненной стыдливостью. Для него, воспитанного в традициях девятнадцатого века, было дико и немыслимо справлять нужду на глазах у десятков людей. И уж совершенно убийственной пыткой становилось протиснуться сквозь толпу озлётых, измученных людей, слушая их брань и колкости в свой адрес. Однажды испытал это, он мучительно ждал теперь времени оправки.

– Полноте, граф, – тихо шепнул Миша. – Если нам не повезёт, то впереди у нас с вами большой путь. Надо привыкать к его обычаям.

– Нет, я не могу! – мотнул головой Путятин, борясь с подступающими к глазам слезами. – Лучше сразу смерть!

– Сразу смерть – по нынешним временам, роскошь. Её надо заслужить, – вздохнул Миша. – И всё же поверьте, оттого, что усталые люди отпустят по вашему адресу несколько непотребных слов, мир не рухнет. Слава Богу, дам здесь нет, а мы все сделаны из одного теста.

Из середины камеры раздались глухие стоны. Хрипел какой-то несчастный в бреду:

– Воздуху! Воздуху! Выпустите меня отсюда! Выпустите меня!

И уже ревели на него со стороны:

– Да умолкни же ты, сволочь!

– Надо пойти помочь, – легко взметнулся со своего места Андрюша Урусов, прелестный восемнадцатилетний юноша с лицом отрока Варфоломея.

– Оставьте, князь... Разве сможешь всем? – покачал головой Миша, пытаясь как-то размять затёкшую, одревеневшую шею.

– Помочь каждому можно, – откликнулся Андрюша, с ловкостью эквилибриста просачиваясь сквозь нагромождение тел.

Что ж, этот мальчик, в самом деле, имел великий дар – помогать. В бутырской камере, вопреки всем возможным нормативам вместившей в себя триста душ, он сделался Ангелом-Хранителем, мирившим ссорящихся, утешавшим унывающих, укрощающим злых и защищающим слабых. На этого Божия отрока никто не смел поднять голоса, но даже самое очерствевшее сердце мягчело, тронутое им, и самый возмущённый дух смирялся его кротостью. Андрюша был воплощённой любовью ко всем, и любовь эта, столь щедро им расточаемая, освещала камеру.

Что-то бормотал, кусая губу, злосчастный графчик и, с жалостью глядя на него, Миша думал, что, в сущности, как раз его-то дела могут ещё и выправиться. Никаких серьёзных обвинений ему не предъявляли, никаких проступков, кроме происхождения, он не имел. Максимум – «минус шесть». Даже печалиться не о чем. То ли дело его, Миши, или юноши Урусова перспектива. Не случайные гости они в стенах Бутырки. Их дело с осени минувшего года катится, громыхая, по всей стране... По нему за последние месяцы были арестованы тысячи священ-

нослужителей и мирян. Среди них – митрополит Иосиф и архиепископ Димитрий, владыки Алексей (Буй) и Максим (Жижиленко), отец Сергей Мечёв и Михаил Новосёлов...

Но много страшнее арестов, страшнее испытываемых и грядущих страданий была Ложь, пронзившая всё и вся. Ложью пытались замарать имена мучеников, твёрдо стоявших в Истине. Так, отец Александр Сидоров, служивший в Крестовоздвиженском, был замучен на «Медвежьей горе», где работал на лесозаготовках. Его авторитет среди ссыльных был столь высок, что люди относились к нему с благоговением. Рассказывали, что однажды в праздничный день он служил обедню на пне, и многие с трепетом увидели, как в чашу сошёл огонь. Накануне гибели к батюшке приезжала жена. Через неё он передал своим духовным чадам завет никогда не иметь общения с сергианской церковью. На другой день чекисты объявили, что ночью отец Александр повесился...

Но куда более страшно и изощрённо обошлась Ложь с прихожанами церкви Никола Большой Крест. После ареста двух священников в неё пришёл новый батюшка<sup>1</sup>. К тому времени лишь «Никола» и Сербское подворье придерживались «иосифлянского» направления, не признавая Страгородского. Отец Михаил сразу сумел расположить к себе осиротевших прихожан, и они сами попросили его о настоятельстве.

Батюшка отличался благообразной наружностью, совершенным знанием служб и большим даром слова. Его проповеди были ярки и проникновенны. В них он прямо и без обиняков обличал антихристову сущность власти и пагубные процессы внутри осознавшейся с ней церкви. Вне службы отец Михаил ходил в светском платье, не считая нужным привлекать к себе внимание. Кое-кого это настораживало. Миша же проникся к батюшке глубоким доверием и много рассказывал о нём старику Кромиади. Тот, почти ослепший, не выходил из дома. К огорчению Миши Аристарх Платонович не разделил его восхищения отцом Михаилом, более того, предупредил:

– Слишком мягко стелет твой батюшка. Как бы не пришлось вам с того на жёстком спать лет этак пять или десять.

Списал тогда Миша предупреждение на старческую подозрительность профессора, а теперь вспоминал и с досадой теребил редкую бороду, удивляясь собственной слепоте. Добро ещё Андрюша, чистый отрок не от мира сего, в батюшке души не чаял, но Мише-то пора было лучше разбираться в людях! А он понял всё лишь в тот миг, когда на допросе следователь предъявил ему обвинение, в котором значилось до последней буквы всё, что говорилось им на исповеди отцу Михаилу...

Сестра Маруся сообщила при свидании, что «батюшку» якобы видели на улице в форме ОГПУ.

И не поверилось, и содрогнулась душа: чекист в рясе – может ли что страшнее быть? И холодело, сосало под ложечкой от мысли – сколько же уже есть таких «отцов»? А будет? И сколько жизней погубят они! И сколько душ!

Пронзительный крик вывел Мишу из окутавшего его сонного оцепенения. Кричал несчастный графчик, давно ставший объектом жестоких шуток маявшихся бездельем уголовников. На сей раз Васька-карманник незаметно всунул ему клочок бумаги между пальцев ноги и поджог его. Заготовали Васька с подельниками, наблюдая за испугом жертвы. И ещё потешнее стало им, когда несчастный, спотыкающийся и награждаемый тычками и бранью отдельных сокамерников, бросился к окну, у которого стоял чан с нечистотами.

Миша закусил губу. Хотелось схватить Ваську за сальный воротник и несколько раз хорошенько приложиться к его изрытой оспинами физиономии. Но не хватало только побоища в камере... Всё же сказал зубоскалящему вору:

– Ты вот что, Вася, оставь-ка человека в покое.

– А то что? – ухмыльнулся Васька.

– А то – узнаешь, – спокойно ответил Миша и прикрыл глаза, давая понять, что разговор окончен.

В сущности, что мог он сделать этим скотам в человеческом облики? Ровным счётом, ничего. Благодарить Бога, что сам пока не стал объектом их развлечений, что душой и телом куда крепче графчика, что ареста и прочих лишений ждал все последние годы и был к ним готов, насколько вообще может быть готов человек к таким испытаниям.

Вернулся графчик, спотыкающийся о чужие ноги, краснеющий и извиняющийся перед всеми, занял своё место и замер, едва слышно всхлипывая. Миша подумал, что такому, как он, никогда и ни за что не выжить в лагере. Он ещё не испытал ничего, но уже сломлен. В лагере он неминуемо обратится в жалкого доходягу, потерявшего человеческий облик, готового на всё ради куска пайки или недокуренной самокрутки, в куклу для битья и издевательств, в игрушку для шпаны и блатных, с которой можно сделать всё, что подскажет им их больная, жестокая, извращённая фантазия.

– Перестал бы ты ныть, парень, – раздражено обратился к Путятину растрёпанный мужик в рваной рубахе. – Не одному тебе здесь тошно. Мне, к примеру, стократ тошнее твоего. Мне вышка светит, а это тебе не фунт изюму.

– В чём же вас обвиняют? – спросил Миша, выводя из-под удара мужицкой досады графчика.

– Мятежник я, вона как, – усмехнулся мужик. – Мятежник... При Николашке мне за мои подвиги год ссылки дали и гуляй, а тут вона...

– Так вы мятежник со стажем? – Миша любил послушать чужие истории и сразу обратился во внимание.

– Со стажем, сынок, со стажем. Семья моя бедно жила. Помню, пашет, пашет родитель, как проклятый, а весной всё равно хоть побирайся иди. Малоземельные мы были, что ж... Когда я в возраст входить стал, так у нас в селе один умный человек случился. Из ваших, из городских. В партии социал-революционеров состоял. Знатно он этак про жизнь наше говорил! И про то, что не так, и как так сделать, чтобы мужику хозяином на земле стать. В общем, примкнул я к его партии, стал агитацию в нашей губернии производить. Да недолго, правда, агитировал. Пришёл как-то с утраца исправник да и свёз меня в холодную – уму-разуму набираться. А там ссылка... После ссылки я обженился, кое-как хозяйство наладил, не до политики стало, сам понимаешь. Потом на войну ушёл, а оттуда – напрямиком в Красную армию. Эх, сынки, я ведь за эту власть три года бился. Три ранения у меня, самолично товарищ Ворошилов мне руку жал. Вона! Тогда ероем себе казался... В родное село вернулся – работы непочатый край! Сперва я сам собой хозяйствовал, а затем создали мы с мужиками артель. Знатно наша артель работала, горя мы не знали. А тут велят нам распускать её и вступать в колхоз. А на чёрта мне, спрашивается, колхоз? Мы и так жили – ни в чём не нуждались. Так и сказали мы начальству, что не нужен нам ихний колхоз. А они нам говорят: будь по-вашему, только имена ваши мы запишем, чтобы врагов в лицо знать! Так прям и сказал мне этот их уполномоченный, щенок сопливый! Ну уж я на того щенка попёр: ты, говорю, мзгляк, ещё титьку мамкину теребил, когда я в царской ссылке за дело революции срок отбывал! Рубаху рванул, шрамы свои показываю. За что я их получал? Не за Советскую ли власть?! Какой же я враг?! Вот и пишишь, смеётся, в колхоз, коли не враг. Не стал я тогда в колхоз записываться, а с того дня ночами покой потерял. Глаза закрываю и вижу войну. Нашу, гражданскую... Себя, «ероя», вижу... И всё понять пытаюсь, против кого иду? Против чёрных баронов? Против каких-то князей? В глаза я не видал ни баронов, ни князей. А штыком своим животы таких же мужиков, как сам я, распарывал. И зачем? Думал, власть свою защищаю, землю свою... Жизнь хорошую для себя и своих ребятишков! Вона она, жизнь! Своя власть! Пришла она ко мне ночью и мордой в снег швырнула, кулаком обозвала, врагом... Я им про Ворошилова, про заслуги свои, а они подпол мой выворачивают, жёнино бельё перетряхают. С уполномоченным тем ещё Нюрка-стерва

пришла. Она у нас в комбедке главная. Гадюка кривая... Когда она со своим вырожденком полудурным, неизвестно от кого прижитым голодала, так моя Настасья её подкармливала. А она явилась и стала татам этим показывать, где у нас что хранится. В детские постели и то полезла, курва. Глядел я на это, глядел, и мочи не стало. Схватил я обрез да попер на них. Баба моя кричала, чтоб остановился, чтоб семьи не сиротил. А я уже не слышал... Я в царской ссылке и на фронте не для того мытарился, чтоб моя же власть меня по ветру пускала... Шмальнул я, короче, в щенка этого. Знатно шамльнул... Больше врагами никого не объявит. Теперь жалею, что Нюрка-стерва ноги унести успела. А то бы я и её... Думал, там же и кончат меня. А они, вона, дело нарисовали! Мол, целый мятеж был, а я его организатор... Тьфу! Мне-то всё равно – так и так вышка. А мужиков жаль... И бабу с ребятишками... А ещё, сынок, как на духу скажу тебе, один и тот же сон меня изводит. Вижу я, как в атаку иду. А супротив – детвора... Со штыками, с сабельками, а детвора! Кадетики да гимназисты... Щёк не брили ещё, баб не мяли... А я их... – мужик зажмурился и тряхнул головой. – Их горсточка против нас была, мы их тогда всех... До одного... И, вот, думаю я, здесь сидя, может это их кровушка моих-то ребятишков теперь губит? И страшно мне, и так тошно, что впору голову о стену расшибить...

Мужик умолк, уставившись куда-то невидящим взором.

Возвратившийся Андрюша стал едва слышно шептать что-то ободряющее графчику. В этом ангельском сердце никто и ничто не вызывало раздражения и гнева. А глубокую скорбь видел Миша на его челе лишь однажды – когда юный князь вернулся с первого допроса. На вопрос, что произошло, Андрюша с отчаянием ответил:

– Я Бога обманул!

– Каким образом?

– Они спросили, как я отношусь к поминованию властей, и я ответил: безразлично!

Сознание совершённого греха так тяжело подействовало на юношу, что он не находил себе места и не мог дождаться следующего допроса. Вызванный на него, он первым делом потребовал изменить одно слово в предыдущем протоколе, ответив на вопрос о поминовании: «Отношусь отрицательно». После этого к Андрюше вернулось его обычное светлое расположение духа.

Глядя на растворённого в чужих горестях князя, вся краткая жизнь которого состояла из сплошных мытарств, Миша печально сознавал, что никакой сан не приблизит его к духовной высоте этого юноши. К своим восемнадцати годам он познал изгнание, скитания по чужим краям, всевозможные лишения, голод, холод, аресты и утраты родных, унижения и угрозы на каждом шагу. Всё переносил стойко кроткий Христов воин...

Его старшие братья ушли в Белую армию, благословлённые матерью, которой за это грозила расправа чекистов. Другой брат, лишённый права на образование, вынужден был заниматься самыми тяжёлыми работами на железной дороге, несмотря на врожденный порок сердца. Сестра от лишений заболела чахоткой и умерла. Судьбы прочих родственников могли служить горьким путеводителям по советскому аду. Князя Урусовы и потомки севастопольского героя адмирала Истомина, большинство из них были расстреляны, замучены, заключены в лагерь или сосланы...

Глубокая религиозность отличала практически всю семью Андрюши. Его мать близко знала патриарха Тихона и митрополита Агафангела, посещала старца Алексия Мечёва, была знакома с Елизаветой Фёдоровной, присутствовала на соборе 1917 года, членом которого был её муж. Брат княгини Урусовой Пётр Истомин был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода Самарина. При последнем аресте чекисты задали ему вопрос:

– Почему вы не ходите в церковь?

– Я молюсь дома, – уклончиво ответил Пётр Владимирович.

– Неправда. Вам не нравится наш митрополит.

– Помилуйте, какой может быть митрополит у ОГПУ?

- Вы прекрасно понимаете, о ком речь. Мы говорим о нашем митрополите Сергии.
- Что ж, в таком случае вы правы. *Ваш* митрополит мне, действительно, не нравится.

В такой же твёрдой религиозности и верности Христу воспитывала своих детей княгиня Урусова, из которых Андрюша был наиболее близок с матерью. Некогда в его школьные годы учитель велел классу писать диктант на тему «Суд над Богом». Двенадцатилетний князь наотрез отказался. Не помогли ни уговоры, ни угрозы исключением из школы, ни вызов к директору. Писать противный его совести текст Андрюша так и не стал.

Перебравшись с семьёй в Москву, он стал прислуживать в церкви Никола Большой Крест, где привелось отпевать его сестру, и где Миша не раз имел случай видеть на службах его мать, являвшую собой пример первохристианской веры и верности.

Даже передвигался Андрюша особенно – в переполненной камере умудрялся не отдавить ничьей ноги, никого не толкнуть, не задеть, точно не земной человек, а бестелесный ангел пролетел. Заняв своё место рядом с Мишей, он сразу заговорил с Путятиным, мягко утешая его. Графчик оживился, обретя, наконец, сердечного слушателя, и принялся рассказывать юному князю о своей семье, о жизни до ареста, горько жалобиться на жестокость судьбы.

Миша с досадой на себя почувствовал, как в душе поднимается глухое раздражение против этого бедолаги с его бесконечными причитаниями и всхлипами. Хотелось осадить его, как только что сделал хмуро замолчавший «мятежник». Хорош «монах», нечего сказать! Всё-таки прав был прозорливец отец Валентин, когда так и не дал благословения на принятие пострига... Отец Михаил давал, да Миша заробел, не смея нарушить воли наставника.

Кое-как повернувшись набок и натянув на голову вытертую на локтях тужурку, он закрыл глаза и попробовал читать Иисусову молитву. Куда там! Мысли упорно разбрелись прочь. Мельком скользнули они по судьбе отца – как-то отразится на нём арест сына? – и унеслись к совсем иному предмету.

Стыдно было признаться, но ничто не занимало их теперь так, как судьба Надежды Петровны. С той поры, как поселилась она в Серпухове, Миша навещал её так часто, как только мог, привозя продукты, помогая по хозяйству. Жила Надежда Петровна одиноко, ни с кем не сходясь близко. Устроиться на постоянную работу не удавалось: во всех учреждениях регулярно проходили чистки, и она, как лишенка, оказывалась первой кандидатурой на увольнение. Осенью Надежда Петровна сильно простудилась и с той поры так и не поправилась до конца. Миша с беспокойством замечал, что она очень бледна и ослаблена. Он настаивал на необходимости показаться хорошим врачам, съездить на юг, обещал найти средства, но Надежда Петровна отказывалась. Даже в столь необходимом ей питании она ограничивала себя, всем жертвуя для сына, обнаружившего литературные способности и мечтавшего стать настоящим писателем. Надежда Петровна лишь качала головой:

– Если ты станешь настоящим писателем, то ни издавать, ни печатать тебя не станут. Фальшивые писатели настоящего не потерпят. В древности люди отдельных племён, прежде чем получить имя по достижении совершеннолетия, проходили обряд инициации... У нас его тоже требуется пройти. Нужно всего лишь солгать, предать, отказаться от себя, запятнать себя – и тебя признают своим... Но запомни, Петенька, если ты станешь фальшивым, то я, живая или мёртвая, отрекусь от тебя. Кем бы ты ни стал, главное, останься Человеком. Вот тебе мой наказ.

Так она говорила, когда лежала в жару, с трудом находя в себе силы подняться. А сын молча слушал. Он понимал, о чём говорила ему мать, уже успев столкнуться с этим. В школе, когда требовалось что-то нарисовать, написать, выполнить любую другую творческую работу, обращались к нему. И он старательно выполнял просимое, но поощрения за это получали другие, потому что они были пионерами, а он нет. И хуже того, когда однажды один из одноклассников донёс, что Петя ходит в церковь, и по этому поводу был устроен целый суд, Петя не

только не признал своей вины, но открыто назвался верующим. Тогда его едва не исключили из школы, но, по счастью, обошлось.

Для Надежды Петровны вся жизнь заключалась в сыне. Как ни старался Миша, но так и не смог стать для неё большим, чем был в день первого с ней объяснения. Ни он, ни другие мужчины не существовали для неё, а существовала лишь тень, призрак того, кто считанные месяцы много лет назад был её мужем. И Миша болезненно завидовал этому давным-давно истлевшему в земле мертвецу.

Думалось, что постриг разрешит тягостное положение, но не благословил отец Валентин, угадав, что слишком опутана душа Миши земными страстями.

– Сперва нужно душу к монашеству воспитать, а лишь после давать обет, чтобы не вышло беды, – наставлял он в письме из ссылки.

Лишённый возможности стать монахом, Миша отчаянно искал возможности всё-таки служить Церкви, так нуждавшейся в пастырях. Идею подал ему пример отца Иоанна Кронштадтского, целомудренно жившего в браке со своей женой. Но немало времени понадобилось, чтобы собраться с духом и заговорить о ней...

Лишь зимой, приехав на Святках навестить Надежду Петровну, Миша решился поделиться с нею давно вынашиваемым замыслом:

– Надежда Петровна, я хотел бы просить вас об одном огромном одолжении... Я понимаю, что просьба моя может показаться вам несуразной и невозможной. Но вы простите меня в таком случае, потому что, видит Бог, худого на сердце у меня нет.

– Я готова для вас сделать всё, что могу, Мишенька, – растерянно ответила она. – Но что я могу?

– Вы знаете о моём желании служить Богу и Церкви, знаете и о том, что монашеский путь закрыт для меня волей отца Валентина. Я со своей стороны помню, что вы поклялись хранить верность мужу, живому или мёртвому. Ваш муж... Он не вернётся, вы знаете...

– Не нужно, не говорите! – Надежда Петровна вздрогнула.

– Простите... Надежда Петровна, я никогда не позволю себе даже намёка на желание, чтобы брак наш был... настоящим, я никогда не позволю себе хоть как-то задеть ваши чувства к мужу. Для вас всё останется по-прежнему, и ваш обет будет исполнен. Но обвенчавшись со мной, вы разрешите меня от моего связанного положения, откроете и мне путь исполнить, наконец, мой обет. Поймите... Я никогда не полюблю другой женщины и, следовательно, не имею права жениться на другой. Такой брак будет ложью и перед ней, и перед Богом и станет мукой для нас обоих. Кроме вас я никого не могу просить о подобном, и, поверьте, я делаю это от крайности.

– Я вам верю, Мишенька, – кивнула Надежда Петровна, – и вам не за что просить прощения. Это я виновата перед вами за то, что невольно причиняю вам столько мучений. Я не могу сейчас сразу дать вам ответ. Я ведь не имею точных сведений о судьбе мужа... Я должна спросить совета у батюшки и всё хорошенько обдумать сама.

– Но вы не отказываетесь?.. – спросил Миша с робкой надеждой.

Надежда Петровна глубоко вздохнула и, помолчав несколько мгновений, ответила:

– Если батюшка благословит меня, то я исполню вашу просьбу. Вы сможете со спокойной совестью принять сан, а я продолжу жить так, как жила.

– Разумеется, я же дал вам слово, что ни о каких иных отношениях не посмею даже заговорить с вами... – подтвердил Миша и не удержался, добавил: – ...как бы тяжело для меня это ни было.

– Спасибо, Мишенька... Простите меня за всё!

Вернувшись в Москву, он получил от неё письмо, в котором она сообщала, что батюшка благословил её принести просимую жертву и готов обвенчать их. Наконец-то тяжёлая, наглухо затворённая дверь приоткрылась перед Мишей. Он собирался выехать в Серпухов в ближай-

ший выходной, но уже на другую ночь очутился в камере Бутырской тюрьмы, имея впереди самые туманные и безотрадные перспективы. Так, в очередной раз дверь к избранному пути была захлопнута перед ним, и от этого угнетала душу маята недоумения: для чего всё? И где его, Миши, место в этой странной жизни?

## Глава 7. Пасха в Большом Доме

Светлую заутреню привелось хоть и в тесноте встречать, да в хорошей компании: в одной камере собрались протоиереи Белавский и Никитин, священник Прозоров, харьковский старец отец Николай Загоровский, странник Максим Генба, некогда порт-артурский солдат-инвалид... Даже сотня человек, приходившаяся на двадцать коек не смогла отнять пасхального торжества.

В том, что арест неизбежен, отец Вениамин не сомневался с момента отложения петроградской епархии. Но в Двадцать девятом году эта неизбежность придвинулась вплотную. Первым ударом стал арест в конце Двадцать восьмого отца Феодора Андреева. Удар был особенно тяжёл, так как именно в руках отца Феодора сходились все ниточки разрозненных анклавов Катакомбной церкви, именно он был правой рукой владыки Димитрия, его бессменным секретарём и идеологом иосифлянского движения.

Заменить Андреева было некем, слишком незаурядна была личность этого сорокаоднолетнего, хрупкого с виду священника. Выходец из петербургской купеческой семьи, он окончил реальное училище, три курса Института гражданских инженеров, экстерном – Московскую Духовную семинарию, а затем и Московскую Духовную академию. Во время учебы в академии состоялось его знакомство с Новосёловым, членом кружка которого он стал. Кандидатская диссертация будущего отца Феодора была посвящена Юрию Фёдоровичу Самарину. По решению Совета Духовной академии ее рекомендовано было переработать в магистерскую диссертацию и издать в виде монографии по истории раннего славянофильства. Этого, впрочем, Андреев сделать так и не успел, всецело отдавшись служению Церкви.

Отец Феодор служил в Сергиевском всея Артиллерии соборе и очень скоро сделался известнейшим, любимым и почитаемым проповедником, слушать которого стекалась вся интеллигенция Петрограда. Доходило до того, что собор не мог вместить всех желающих услышать живое слово богомудрого пастыря.

Стекались люди не только в храм, но и в дом Андреева. Отец Феодор вместе с семьёй жил на Лиговке, напротив Греческой церкви Святого мученика Димитрия Солунского. Дни напролёт шли и шли сюда люди самых разных сословий, положений. Приходили за утешением и советом, иные оставались на чай и вели с батюшкой продолжительные беседы. Среди его духовных чад было много профессоров и студентов Военно-Медицинской академии и Университета, научных сотрудников Академии наук.

Арест отца Феодора не продлился долго, но и этих злосчастных тюремных недель хватило, чтобы окончательно подорвать здоровье страдавшего пороком сердца священника, и без того непомерно истомлённого постоянными трудами и волнениями. Подхваченная после продолжительной службы в холодном храме простуда довершила дело: батюшка слёг с пневмонией, осложнённой тяжелейшим эндокардитом...

– Я всё думаю о происшедших событиях. И вот, проверяя себя перед лицом смерти, одно могу сказать: с тем умом и той душой, которые дал мне Господь, я иначе поступить не мог, – так говорил отец Феодор перед самой кончиной.

Должно быть, давно не приходилось видеть Петрограду столь многочисленной похоронной процессии. Казалось, что горестному людскому потоку, тянущемуся через Лиговку, по 2-й Рождественской к Лавре, не будет конца.

То был май 1929 года. Владыка Димитрий Гдовский так и не смог найти себе другого постоянного секретаря, и это неизбежно сказалось на общей работе. Впрочем, и самому владыке оставалось находиться на свободе считанные месяцы. Наступление на иосифлян шло полным ходом.

В марте в Москве был арестован Новоселов. В мае та же участь постигла большую группу серпуховского духовенства во главе с поставленным в эту епархию епископом Максимом (Жижиленко). Всех их приговорили к различным срокам концлагерей. В ссылке был арестован и отправлен на три года в Соловецкий концлагерь епископ Алексей (Буй).

Осенью в результате крупной операции на Кубани и Северном Кавказе было арестовано много священнослужителей и монашествующих, выявлены и разрушены скиты и кельи в труднодоступных местах Кавказских гор в районе Туапсе, Сочи и Сухуми. Несколько месяцев спустя десять иеромонахов и монахов «за антисоветскую агитацию» были приговорены к расстрелу, остальные – к различным срокам заключения.

Зная обо всём этом, архиепископ Димитрий ждал своего часа. Как и прежде, у него на квартире собирался редеющий круг верных. На последнем чаепитии кто-то из присутствовавших священников, словно рассуждая, заметил, что для ареста нужны какие бы то ни было основания. На это владыка со вздохом ответил:

– От таких негодяев и мерзавцев можно всего ожидать. Ведь они митрополита Иосифа сослали, не имея никаких оснований на это... Ну, ладно, ничего, эта власть долго не продержится, Бог не допустит издевательств, найдутся люди, которые пойдут во имя Христово и встанут против власти, а мы должны стараться объединиться и помочь в этом. Наша главная задача сейчас – это вливать в свои ряды молодые стойкие силы духовенства, без этой силы нам трудно, старикам, вести борьбу со многими врагами за нашу правоту. Вот если бы нам разрешили открыть пастырские курсы, тогда было бы хорошо, но об этом и мечтать не приходится.

На прощание старец-архиепископ благословил всех сухой, жилистой рукой, произнёс, напутствуя:

– Сейчас наступило тяжелое время, священство преследуют, сажают в тюрьмы, выселяют из города за несколько сот верст. Иисус Христос страдал, и мы должны быть мучениками за Христа, мы должны умереть за истинное православие.

Через несколько дней владыка был арестован.

Следом прошли массовые аресты духовенства и мирян катакомбной церкви Петрограда. В начале декабря арестовали отца Василия Верюжского, а следом был закрыт храм Воскресения на Крови. Иосифляне лишились своего центра.

Седьмого февраля 1930 года был расстрелян епископ Прилуцкий Василий (Зеленцов), за полгода до того написавший большую работу «В чём состоит верность Христу в церковной жизни» с критикой деятельности митрополита Сергия. В этой рукописи, помимо прочего, говорилось о необходимости борьбы с советской властью всеми возможными способами. Рукопись была размножена верующими и получила широкое распространение. Вскоре владыка был этапирован в Москву, где коллегия ОГПУ вынесла ему приговор.

Опытный отец Вениамин, постоянно меняя место ночлега, дольше многих оставался на свободе, но и его черед не замедлил прийти. Тот день он почувствовал, угадал каким-то сверхъестественным чутьём. На Крещение впервые за последние недели поехал на станцию Сергиевскую, где служил занявший место владыки Димитрия епископ Сергей (Дружинин). В этот раз отец Вениамин не сослужил ему, просто стоял в толпе, как один из смиренных мирян. Он так и не смог определить того, кто так пристально, так непраздно смотрел ему в спину, но взгляд этот почувствовал и понял.

Возвращаясь вечером в своё очередное «лежбище», бывший полковник не озираясь в поисках слежки, точно зная, что её нет. Быстро-быстро перебирал он в уме, что необходимо сделать срочно, до утра, до их прихода. Никаких писем или иных компрометирующих документов у него не оставалось: всё успелось вручить адресатам, либо, в случае арестов таковых, уничтожить. Стало быть, осталось позаботиться о себе. В последний раз вымыться, облечься в чистую одежду, вычитать правило и... лечь спать, пока не разбудят.

Дочитать правила и выспаться, увы, не удалось. Они пришли раньше. И уже следующую ночь отец Вениамин встречал в самом «гостеприимном» доме Ленинграда – доме Предварительного Заключение на Шпалерной... Где-то совсем рядом, в одиночной камере томился архиепископ Димитрий, по соседству – ещё десятки и сотни сострадальцев.

Всё время первых допросов отца Вениамина занимало одно: узнают или нет? Он не скрыл ни своего настоящего имени, ни звания в Царской, ни участия в Белой армии. И в каждый вызов к следователю ждал: вот, сейчас вскроется его «послужной» список времён Добровольчества, вот, сейчас припомнят ему убитых «товарищей». Но ничуть не бывало. Знать, слишком много времени прошло, и слишком много забот было у чекистов по процессам настоящим, чтобы столь дотошно копаться в прошлом какого-то иеромонаха, пусть и бывшего офицера, контрика (мало ли таких). И без того дело на него чин по чину, лишних вин можно не искать. Тут бы с прочими арестантами управиться.

Поняв, что на данном этапе его прошлое ГПУ занимает мало, отец Вениамин ощутил лёгкое разочарование. Столько лет скрывался от ЧК, уверенный, что первый же допрос окончится скорейшим выводом в расход, а тут поди ж ты: и эта «пуля», в лоб летя, в последний миг изменила траекторию. Для чего же так старательно охраняет его невидимый ангел?

Оставшись дневалить во время прогулки, поделился своими размышлениями с также оставшимся в камере по болезни отцом Николаем Прозоровым, духовным чадом Феодора Андреева. Молодой священник задумчиво погладил бороду и медленно, с расстановкой ответил:

– Всё, что происходит с нами, отче, промыслительно. Не ищите покуда объяснений происходящему с вами. Вас ведёт Его рука. Подождите, и вы увидите, куда и зачем. В сравнении с вами я практически ничего не испытал, но всё-таки позволю себе рассказать вам в ответ свою историю. Я рано решил служить Богу, поступил в семинарию, но в пятнадцатом сбежал из неё и пошёл на фронт добровольцем. Революция застала меня уже офицером, подпоручиком. Служба моя окончилась, и я вернулся на родину, в Пензу, где сразу был препровождён в тюрьму, как золотопогонник. Нас, золотопогонников, насчитывалось там до четырёхсот пятидесяти человек. Во время побега уголовников полтора десятка наших расстреляли. Этого я никогда не забуду... Каждую ночь мы ждали, когда раздадутся шаги и гадали, кого же возьмут. Вот, раздавались шаги, лягз засовов, грохот дверей, матерная брань, удары, стоны и крики уводимых... Иной так возопит пронзительно, что кровь в жилах оледенеет. «Братцы, братцы, без вины гибну!» Совсем как теперь здесь по ночам... А через несколько минут во дворе – щёлк, щёлк... Тут-то не слышно: может, увозят куда... А там!.. По десять человек из ночи в ночь они расстреливали. К концу второй недели от этого напряжения кое у кого стал мутиться рассудок. Вечернюю пайку никто из нас не мог есть... Наконец, я предложил своим сокамерникам прочитать вслух акафист святителю Николаю – защитнику невинно осуждённых. Часть офицеров пренебрегли этим предложением, а другие отошли вместе со мной, и мы пропели акафист... Так, вот, отче, первые были расстреляны следующей ночью, мы же получили различные сроки. Именно тогда я и дал обет вернуться на оставленную из-за войны стезю.

Отец Николай вступил в возраст Христа. В его словах, взгляде читалось глубочайшее спокойствие, готовность хоть сию секунду предстать пред Высшим Судией. До времени этот скромный священник, служивший далеко от центра, был мало известен и лишь в последние два года заговорили о нём, как о неколебимом ревнителе церковного благочестия. В его уединённом храме у платформы Пискаревка собирались тогда, когда опасались многолюдья Воскресенья на Крови – например, для хиротонии епископа Максима (Жижиленко). Рассказывали, что у отца Николая была возможность обеспечить свою и своих родных безопасность. Причём для этого не нужно было становиться осведомом у ГПУ, присягать власти и Страгородскому. Нужна была суцкая малость – обвенчать крупного партийного деятеля с полюбившейся ему девушкой. Девушка оказалась верующей, и всесильный член ЦК решил исполнить её каприз.

За церковный брак исключали из партии, поэтому нужно было уединённое место. Отцу Николаю предлагалось заступничество с весом в Кремле, всевозможные щедроты... Но батюшка ответил отказом: он не мог допустить к церковному таинству отпадшего от Церкви коммуниста. Вероятно, нашёлся другой, не столь ревностный священник, а отцу Николаю и его семье помочь теперь было некому.

Страдная пора настала на Шпалерной. Каждый день принимал Большой Дом новых постояльцев: мужчин и женщин, стариков и юношей, учёных и священнослужителей, дворян и рабочих, офицеров и малограмотных мужиков – и приходилось удивляться одному: как вмещает он такое скопище людей? Дисциплина и ещё раз дисциплина! Вот, втолкнули нескольких ещё не пришедших в себя, растрёпанных с воли новичков – им отводится пяточок свободного места возле параши, откуда по мере «ротации кадров» неделями, месяцами продвигаются они к вожделенной досочке, положенной на выступы между двумя кроватями, и, наконец – вершина блаженства! – до самой кровати...

Лёжа на своей досочке, отец Вениамин чувствовал облегчение оттого, что больше не приходится вдыхать зловония места для новичков. Впрочем, оно пропитывало всё затхлое помещение. Полутёмная камера почти не проветривалась, в ней было столь сыро, что по утрам стены и пол покрывались каплями воды.

– Радуйтесь, отче, нам отверзнут путь самосовершенствования! – ободрял старик Загоровский. – Вот, и рацион у нас – великопостный.

Что правда, то правда. На пище для такого числа узников ГПУ приходилось экономить, кормили ровно столько, чтобы заключённым хватало сил переставлять ноги: фунт чёрного, непропечённого хлеба, два блюдечка ячменной каши, тарелка жидкости с редкими стружками капусты – таков был рацион в доме на Шпалерной.

К Светлому дню с воли всё-таки удалось передать самые дорогие гостинцы: куличи, крашеные яйца, пасху... Всего по чуть-чуть, понюхать только – но и то уже радостью было. После ночной тихой, полушёпотной службы разговелись дарами заботливых душ. Суд земной ещё не вынес своего приговора, но узники знали, что для кого-то из них разговины эти – последние. И от сознания этого, не высказанного, но живущего в каждом, от молчаливого предуготовления к последнему часу по-особенному звучали в камере №21 самые радостные слова в человеческой истории:

- Христос Воскресе!
- Воистину Воскресе!

## Глава 8. Встреча

Отец приехал неожиданно, лишь за несколько часов известив телеграммой. Едва получив её, Замётов засобиравшись в Посад, на ходу распорядившись:

– Сейчас возьмёшь деньги, сколько надо, поедешь на вокзал и жди своих. Как явятся, наймёшь ломового или двоих, если нужно, и вези их к своему ротозею-братцу, а я его предупредю.

Агалая проглотила обычный оскорбительный в отношении брата тон мужа и лишь робко спросила:

– Разве они не могли бы переночевать у нас? Я думала...

Взгляд мужа был куда красноречивее, чем могло быть вслух отпущенное «дура».

– Не хватало ещё, чтобы все узнали, что я покрываю и даю убежище кулаку! Да если об этом узнают там, то не только твоего папашу с семейством, и меня, на что тебе, разумеется, наплевать, но и тебя с Аней отправят в бесплатное путешествие в весьма далёкие и живописные края. Будь добра делать, что я говорю. А думать ты будешь, когда сведёшь меня в могилу.

– Прости, я просто растерялась...

Замётов был сильно раздражён. Что ж, справедливости ради, он имел на это все причины. Спасая от расправы тестя, он подвергал себе едва ли ни большему риску, чем когда в Восемнадцатом помогал бежать из Ярославля уцелевшим мятежникам.

Сидя на вокзале в ожидании родных, Аглая думала, что нужно было загодя предупредить Серёжу о том, что грозит отцу, чтобы приезд родителя не стал для него столь внезапным. Но когда было предупреждать? За последний год и не виделись почти. Серёжа много времени проводил вне Москвы – ездил в экспедиции по разным областям, участвовал в реставрационных работах. И Тая безотлучно при нём была. Налету схватывающая всё, от него исходившее, она быстро научилась делать необходимые замеры, выполнять несложную, чёрную работу, предшествующую художественным трудам специалистов. Однажды увидев её за работой, Аглая подумала, что эта девочка, наверное, освоила бы и само ремесло реставратора, если бы это понадобилось, чтобы быть рядом с Серёжей. Какими любящими глазами смотрела она на него! Как старалась во всём угодить... Глядя на это, Аля с тоской представляла, как могла бы вот так же самозабвенно растворяться в другом человеке, служить ему, если бы этим человеком был Родион...

В прошлом году, гостя летом у Марьи Евграфовны в Перми, Аглая не постыдилась выпросить у неё фотографию, на которой был запечатлён Родион сразу после выпуска из Училища. Этот портрет с той поры она прятала от Замётова и иногда украдкой доставала, подолгу всматривалась в любимое лицо.

Отца Аглая прождала на вокзале несколько часов, ещё добрый час ушёл на то, чтобы найти ломовика, а уж дорога до Посада после этого показалась целой вечностью.

Муж дожидаться их приезда не стал, а Серёжа встретил с лицом таким мученическим и потрясённым, словно у его ног только что разверзлась земля. Он неловко попытался помочь разгрузить вещи и что-то сразу уронил. Отец сердито буркнул:

– Не тронь ничего, коли руки не так пришиты!

Серёжа понурил голову, прибито отирался у крыльца, теребя нервными пальцами сломанную хворостину. Выбежавший из дома Степан Антонович вместе с Матвеем и Митей легко и быстро перетащили нехитрый скарб в дом в то время, как Тая проводила Катерину и Дашу в приготовленные гостям комнаты и накрыла на стол.

Улучив момент, Аля озабоченно подошла к брату и тронула его за локоть. Тот болезненно вздрогнул, попытался изобразить улыбку.

– Что с тобой? – тихо спросила Аглая. – На тебе лица нет.

– Ничего, так... Нездоровится немного.

– Нездоровится... – повторила Аля. – Вижу.

– Что ты видишь?

– Что худо тебе, вижу. Послушай, я ведь тебя лучше кого бы то ни было знаю. И лучше других понимаю, что с тобой происходит. Когда-то мы были очень близки, помнишь? И мне кажется, что сейчас нам бы стоило вернуть то время. Я... много пережила, ты знаешь... Поэтому всё могу понять, а осуждать мало кого смею. И ещё знаю, какая это мука, когда что-то гнетёт тебя, а поделиться этим гнётом не с кем.

– С чего ты взяла, что меня что-то гнетёт, чем я не могу поделиться? – спросил Серёжа, отведя глаза.

Аглая присела на завалинку, потянула брата за собой:

– Я не имею права лезть тебе в душу и не собираюсь этого делать. Просто послушай, что я тебе скажу. Есть вещи, о которых, как нам кажется, невозможно рассказать кому-либо. Стыдно, страшно, тяжело... Много есть причин. Но от того, что мы держим их в себе, они не уходят. Они, как микробы, поселяются в благодатной среде, которую создаёт им наша трусость, и развиваются, изводя нас день за днём. Только сами они тоже трусливы, и ничего так не боятся, как быть названными вслух. Назовёшь, переступишь через боль, и смотришь – как короста, как грязь присохшая, вся эта мучившая нас дрянь сходит. Когда некому поверить, рассказать, тогда тяжко. По себе знаю. А если есть, то бояться нечего. И стыдиться тоже. Стыдно не о микробе сказать, стыдно трусливее этого микроба оказаться.

– Ты точно Марья Евграфовна говоришь, – заметил Серёжа и, бросив на Алю быстрый, загравленный взгляд, побрёл в дом.

За обедом отец объявил:

– Ты, Серёжа, не беспокойся, долго мы у тебя не загостимся.

– Бог с тобой, живите, сколько нужно, – развёл руками брат. – К тому же на днях мы с Таей и Стёпой перебираемся в Коломенское, так что дом будет свободен.

При этих словах лицо Таи просветлело, и она одарила Сергея полным ласки взглядом.

– Добро, что так, – кивнул отец. – Но мы не захребетники и не приживалы. Сейчас пообсудимся, как раскачается, а там решим, как самим устраиваться.

– А есть ли идеи? – осведомился Степан Антонович.

– Назад нам дороги нет, тут дело ясное. Там нам жизни не дадут... Значит, надо где-то на новом месте обжиться.

– В деревне?

– К городу я не привычен. Матвею, может, лучше и в город податься. На завод. На раб-фак... Он парень с головой, не пропадёт.

Матвей, молчун от природы, родителю не перечил, и по сосредоточенному лицу его невозможно было угадать, согласен ли он с отцовскими планами.

– В колхоз, конечно, вступать не будем. Руками, слава Богу, не обделены, так что не пропадём. Столярным и плотницким делом на кусок хлеба заработаем... Если только будет вперёд хлеб. Его ведь растить надо, а кому растить, ежели товаришши самих хлеборобов в снопы ныне вяжут...

Сильно состарился отец, Аглая сразу заметила. Но и новая беда не надломилась его, и, обождав до весны, скрепя сердце, принялся он строить жизнь сызнова.

После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов», осуждавшей «перегибы на местах» при проведении коллективизации и декларировавшей сугубо добровольное вступление в колхоз, власти маленько поутихли, а загнанные силком в колхозы мужики, вооружившись газетами со статьёй «вождя», стали снова выделяться в единоличники, не останавливаясь даже перед тем, что отнятое имущество им возвращать никто не собирался. Имущество – дело

наживное, – решили крестьяне, – была бы воля. Пользуясь этим затишьем, отец с семейством обосновался в маленьком домишке в деревеньке на реке Махре, неподалёку от закрытой Стефано-Махрицской обители. Здесь была организована столярная артель, в которой отец стал подвизаться вместе с Севкой, отправив, как и намеревался, Матвея в Москву.

Горькое известие пришло о сестре Любушке. Её вместе с семьёй мужа выслали куда-то на север. Замётов обещал осторожно разведать, куда, но до сих пор не узнал, объясняя сквозь зубы:

– Я и так уже, как бельмо на глазу у начальства. Не сегодня – завтра самого ушлют, куда Макар телят не гонял!

Весь последний год муж был постоянно напряжён. Лишь изредка отходил немного, разговорившись с Нюточкой, развеивавшей его тяжёлые мысли. Он практически не спал, подозрительно прислушиваясь к звукам на лестнице – ждал, что *придут*. Как-то Аглая предложила:

– Если ты так боишься их, то почему бы нам не уехать из Москвы?

– Куда? – усмехнулся Замётов. – И что это изменит? Где бы мы ни были, под своими или чужими именами, покоя нам знать не придётся. Мы всё равно будем ждать их прихода. Будем ночью вслушиваться в то, как мимо наших дверей уводят наших соседей, а днём прятать глаза от их осиротевших родных. И ждать. Ждать! Когда поведут нас...

– Но ведь ты же столько лет в партии!

– Тем хуже. Значит, я не просто контрик, а предатель. Пожалуй, ещё и в троцкисты запишут. А это уже вышка... КРД ещё может рассчитывать на небольшой срок, КРТД – никогда. С КРТД<sup>2</sup> у хана счёт личный.

– Тогда выйди из их партии!

– Выйти? – муж нервно подёрнул губами. – Партия – это капкан. Войти в неё можно, а вот, выйти... Выйти оттуда можно только под конвоем.

Помолчав, он добавил:

– Если бы я был один, может, и вышел бы... Но я не могу рисковать тобой и Аней...

Эти редкие доверительные беседы всякий раз примиряли Аглаю со своим положением и с этим человеком, который причинил ей столько страданий и в то же время не единожды спасал самых дорогих ей людей.

Два года назад у неё появилась робкая надежда, что под влиянием отца Сергия муж, наконец, обратиться к Богу, обретёт душевный мир. Но надежда эта оправдалась лишь частично. Замётов, действительно, стал много сдержаннее и по выздоровлении Али не позволял себе даже прикоснуться к ней, хотя не раз замечала она, каким огнём вспыхивал его взгляд, когда он смотрел на неё. Такая перемена удивила Аглаю. Никогда ещё не видела она мужа столь обходительным и смиренным.

Вскоре Аля заметила, что он тайком читает её Евангелие и молится, когда думает, что его никто не видит. После больницы Замётов решил, что ей лучше спать в комнате Нюточки, а сам с той поры коротал ночи один. Так продолжалось целый год, по истечении которого Аглая почувствовала, что в душе её не осталось ненависти к «извергу», что она, наконец, простила его.

Тем летом Замётов сделал ей с Нюточкой большой подарок. Наслушавшись от Серёжи с Таей рассказов о чудесных древнерусских краях, девочка загорелась желанием увидеть их. И, скрепя сердце, Замётов подарил ей с Алей эту поездку. Целый месяц длилось путешествие, во время которого восторженная Нюточка увидела и красоты Белозерья и Кижы, и чудные пейзажи Карелии, и Архангельск и много-много других жемчужин русского севера. Сам Замётов остался в Москве, прощаясь, печально сказал:

– Не хочу портить вам радость своим присутствием...

В том прощальном взгляде было столько тоски, преодолеваемой нечеловеческим усилием воли, что сердце Аглаи дрогнуло. Встреча же растопила его окончательно. Никогда

прежде она не видела мужа таким радостным. И радость эта была ничем не замутнена, ничего в ней не было злого, жестокого, а одно только счастье, оттого что они вернулись, оттого, как Нюточка бросилась к нему навстречу и повисла на шее. И лишь пробежала тень, когда чуть в стороне остановилась сама Аля. Он постарался не подать виду, но Аглая поняла, как больно обидела его тем, что даже не подошла...

Ночью она долго не могла уснуть и хорошо слышала, что муж не спит также, ворочается к боку на бок, тяжело вздыхая. Аглая тихо поднялась и в одной сорочке прошла к нему. Замётов изумлённо приподнялся, подавил мелькнувший было в глазах огонёк, спросил, стараясь не выдать волнения:

– Что ты, Аля?

Аглая приблизилась и, сев рядом с ним, сказала:

– Я пришла сказать, что простила тебя, Замётов. От всего сердца простила. И ты... прости меня...

Несколько мгновений он оставался неподвижен, поражённый её словами, но, убедившись, что она не собирается уходить, осторожно коснулся рукой её обнажённого плеча. И она не оттолкнула его руки и не передёрнулась брезгливо, как бывало прежде...

Так началась их настоящая семейная жизнь. Увы, Замётову так и не случилось вновь побывать в храме, причаститься Святых Тайн. Осенью двадцать девятого года отец Сергей был арестован по обвинению в создании антисоветской группы. Вместе с ним по «делу группы «Духовные дети» о. Сергия Мечёва» арестовали ещё двух священников и семерых прихожан Маросейского храма. Батюшка был сослан в Северный край... Не решаясь отправлять ему посылки от своего имени, что категорически запрещал Замётов, боявшийся ненужного риска, Аглая каждый месяц передавала помощь его жене, остававшейся в Москве и вынужденной работать, чтобы поднимать детей.

В этот майский день она, как обычно, отвезла матушке полную сумку продуктов и немного денег. Обратный путь был неблизким, тем более, что Москва в последнее время лишилась извозчиков. Трудные времена начались для них ещё в минувшем году, когда нечем стало кормить лошадей. Возвращаться в деревни мужики боялись, зная, что там раскулачивают. В Москве же овса купить было негде. Ломовой извозчик, которого зимой наняла Аглая до Посада, с тревогой выспрашивал отца, как ему поступить. Отец пожал острыми плечами:

– Кобылу со сбруей продай, а сам иди на стройку. Там теперь всего безопаснее...

Вскоре в газетах пропечатали грозное постановление, обвинявшее лошадей в том, что людям не хватает хлеба. Трудящиеся, мол, не доедают, и поэтому правительство вынуждено ввести карточную систему на продукты питания, а извозчики хлебом кормят лошадей! В две недели Москва начисто лишилась привычного средства передвижения. Несчастные лошади, объедавшие трудящихся, пошли на колбасу, получившую название «семипалатинской». «Почему москвичи ходят не по тротуару, а по мостовой? Потому что они заменили съеденных ими лошадей...» – невесело пошучивали зубоскалы.

Вдоволь истоптав ноги, Аглая, наконец, села в трамвай, наполовину пустой в этот час. Нисколько не обратив внимания на других пассажиров, она заняла переднее место левого ряда и стала листать прошлогодний номер закрытого за «легкомысленность» журнала «Домашняя портниха». Этот журнал, исправно выписывавшийся ею два года, был для Али хорошим подспорьем. Из него она черпала немало хороших идей для пошива новых платьев Нюточке, которую Аглае хотелось видеть самой нарядной.

– Здравствуй, Аля... – послышался тихий печальный голос сзади.

Но как ни тих он был, а заставил Аглаю вздрогнуть всем телом. Она медленно обернулась, ещё не веря своим ушам, и замерла, разом лишившись сил и выронив на пол журнал.

– Неужели это... вы?..

– При нашей последней встрече мы были на «ты». Здесь не подходящее место для разговора. Я буду ждать тебя сегодня вечером... И каждый вечер до конца недели. Как тогда ждал... Пушкино, Оранжевая улица, дом 8. Вход с заднего крыльца.

Трамвай остановился, и он легко поднялся, поднял оброненный журнал и, с учтивым полупоклоном подав его онемевшей, потерявшей дар речи Але, быстро вышел. Она порывисто метнулась к окну, но трамвай уже тронулся, и она успела увидеть лишь удаляющуюся фигуру в неприметном сером плаще.

Не проходило дня все эти годы, чтобы она не воскрешала перед глазами это лицо, не проходило недели в последние два года, чтобы оно не взидало на неё с желтоватой фотокарточки. Но как же давно перестала надеяться увидеть его вживую! «Пушкино, Оранжевая улица, дом 8», – оглушительно стучало в ушах. «Пушкино, Оранжевая улица, дом 8» – как пароль для заветной двери. Только бы не лишиться рассудка до вечера!..

## Глава 9.

### *Возвращение*

Кто – мы? Потонул в медведях  
Тот край, потонул в полозьях.  
Кто – мы? Не из тех, что ездят -  
Вот – мы! А из тех, что возят:

Возницы. В раненьях жгучих  
В грязь вбитые – за везучесть.

Везло! Через Дон – так голым  
Льдом. Хвать – так всегда патроном  
Последним. Привар – несолон.  
Хлеб – вышел. Уж так везло нам!

Всю Русь в наведенных дулах  
Несли на плечах сутулых.

Как она читала эти стихи! Каждой строчкой – словно плетью ударяя, и сама же внутри корчась от боли, но стараясь боль эту скрыть за прямостью осанки и спокойствием лица... Цветаева... Её поэтический вечер стал едва ли ни последним воспоминанием Родиона об эмиграции, последним аккордом жизни вовне. Сам бы и не пошёл, пожалуй, не то настроение владело душой, но настояла Евдокия Осиповна. Знакомая с Мариной, она считала себя обязанной быть на её вечере, а Пётр Сергеевич наотрез отказался сопровождать жену. Старый генерал избегал любых публичных мероприятий и откровенно презирал большую часть эмиграции.

– Пойми, Дуня, я не могу находиться среди этих людей! Для меня это мука. Не могу находиться рядом с людьми, каждый из которых может оказаться предателем, а добрая половина являются открытыми сторонниками Триэссерии! Эта твоя Марина со своим мужем... Они симпатизируют большевикам! И тебе бы не следовало ходить на её вечер. Подумать только... Расшаркиваться со всеми этими ничтожествами, слушать глупую болтовню о достижениях Советского Союза и не менее глупую о том, как однажды мы вернёмся под знаменем с двуглавым орлом! К чёрту! Я довольно слышал и видел всю эту публику, и от одной мысли о ней меня воротит с души.

– Марина – великий русский поэт, – спокойно отвечала Евдокия Осиповна. – И это главное. Её поэзия неизмеримо выше политики, её собственной жизни, всего... Она вечна. И поэзия эта, Петруша – русская. Несмотря ни на что. И, как бы то ни было, Марина всегда искренна, и за это я люблю её. А, вот, Гиппиус и Мережковский, ставшие теперь монархистами – подлецы. И они, между прочим, ненавидят Марину. Потому что рядом с ней они жалки...

– Кто бы оспаривал подлость Мережкоппиусов... – пожал плечами Тягаев. – По правде сказать, я, вообще, склонен думать, что среди литераторов крайне мало приличных людей.

Евдокия Осиповна ласково рассмеялась и, поцеловав мужа, заметила:

– Не меньше, чем в любых других профессиях. Так ты не едешь?

– Ни в коем случае. Я не хочу потом добрую неделю видеть всё вокруг в ещё более чёрном свете, чем оно есть. Попроси Родиона Николаевича – я думаю, он составит тебе компанию.

Родион, разумеется, отказать не мог, хотя и сам не питал никакого желания присутствовать на полусветском мероприятии с непременными тягостными воспоминаниями о минувших днях и спорах о днях грядущих.

Но, вот, статная женщина с гордо поднятой головой, подстриженной аля-гарсон, начала читать:

По всем гнойникам гаремным -  
Мы, вставшие за деревню,  
За – дерево...

С шестерней, как с бабой, сладившие  
Это мы – белоподкладочники?  
С Моховой князя да с Бронной-то -  
Мы-то – золотопогонники?

Гробокопы, клополовы -  
Подшло! подошло!  
Это мы пустили слово:  
Хорошо! хорошо!

Судомой, крысотравы,  
Дом – верша, гром – глуша,  
Это мы пустили славу:  
– Хороша! хороша -  
Русь!

И Родион почувствовал неудержимое желание встать, поклониться и поцеловать руку, писавшую такие совсем не женские стихи. Даже если её обладательница по охватившему всех безумию не осознаёт разумом, что есть большевизм. Её стихи выше разума, и в них осознано всё.

Баррикады, а нынче – троны.  
Но всё тот же мозольный лоск.  
И сейчас уже Шарантоны  
Не вмещают российских тоск.

Мрем от них. Под шинелью драной -  
Мрем, наган наставляя в бред...  
Перестраивайте Бедламы:  
Все – малы для российских бед!

Бредит шпорой костыль – острите! -  
Пулеметом – пустой обшлаг.  
В сердце, явственном после вскрытья -  
Ледяного похода знак.

Всеми пытками не исторгли!  
И да будет известно – там:  
Доктора узнают нас в морге

По не в меру большим сердцам.

От тех самых тоск, не вмещаемых Шарантонами, от положения приживала Европы бежал Родион туда, где ничто не ждало его, кроме команды «в расход». О его планах знали лишь Пётр Сергеевич с женой. Даже Наталье Фёдоровне он не сказал ничего, щадя её впечатлительную душу. Она и другие немногочисленные знакомые полагали, что подполковник Аскольдов собирается перебраться в Мексику.

Многолетняя разведывательная работа генерала Тягаева, канувшая в лету с уходом Врангеля, помогла Родиону наметить путь возвращения – через Бессарабию. Там, на границе, контрабандисты давно протоптали надёжный проход. Эти отчаянные люди за хорошие деньги снабдили Родиона всем необходимым – документами, одеждой. Вместе с ними он должен был проделать путь до Украины, а далее действовать самостоятельно. Чтобы не попасть впросак, Родион постарался изучить всё, что можно было узнать об СССР – новые названия городов и улиц, цены и прочее.

Провожая его в Бессарабию, Пётр Сергеевич тяжело вздохнул:

– А, знаете, Аскольдов, я вам почти завидую... Как тому четыре года позавидовал, стыдно признаться, князю Долгорукову. Казалось бы, кадет, человек немного блаженный, хотя безусловной чести, а на старости лет решился пробираться в Россию. И для чего! Потому что совесть не позволяла подбивать на риск других, отсиживаясь в безопасности. Одиннадцать месяцев в харьковском ГПУ, Аскольдов... И совершенное мужество! Говорят, перед расстрелом спокойно умылся, привёл себя в порядок. И погиб... Славно погиб! Глупо, но славно... За Россию и в России. А я, друг мой, буду безотрадно угасать здесь, а затем моя Дунечка похоронит меня в чужой земле.

– Если бы рядом со мной была такая женщина, как Евдокия Осиповна, я теперь, должно быть, направлялся бы в Мексику, – ответил Родион.

– Вас кто-нибудь ждёт? Там? – спросил Тягаев.

– Н-нет... – неуверенно отозвался Родион. – Только моя память. И боль...

Подошёл поезд и, обнявшись и простившись с Петром Сергеевичем, он поднялся в вагон. Народу на перроне почти не было, и длинная, сухопарая фигура старого генерала одиноко возвышалась в лучах заходящего солнца – как печальный и величественный памятник уходящему в лету рыцарству.

Старый князь Долгоруков угодил в лапы ГПУ, как раз использовав бессарабский маршрут. Родион оказался счастливее. Благополучно добравшись до Украины, он, в отличие от покойного лидера кадетов, не стал задерживаться там, а отправился напрямик в Россию...

Россия! Так по привычке называл он страну, по которой ехал день за днём, напряжённо вглядываясь в её лик, стараясь разглядеть в нём то родное, что, кажется, неспособна уничтожить никакая сила. Таких примет немало сохранялось ещё, но как же много исчезло без следа! Как много изменилось до неузнаваемости... И в новом образе явно проступили две приметы: нищета и страх.

Сколь ни бряцали достижениями в газетах, а нищета сквозила во всём: в голодных, оборванных людях, потерянно блуждавших по дорогам, в понурых деревнях, из которых выбросило их осатанелое самодурство власти; в печальных глазах исхудалых детей, тянущих чумазые ручки с пронзительным писком «Хле-е-сба!», превратившимся в вечный аккомпанемент страны торжествующего социализма; в грязи и скученности барачных общежитий; в пресловутых карточках на продукты, от которых в «отсталые» царские времена ломились столы и прилавки... Наконец, в облике самых обычных советских людей. Серые, испытанные лица, серая мешковатая одежда, годная разве что на то, чтобы прикрыть срам. С каких пор мешок с проделанными дырками для рук и головы стал считаться женским платьем? Должно быть с тех самых, когда серый куб – венец советской архитектурной мысли – сделался «дворцом».

Серость, серость, серость... Потускневшие купола со срубленными крестами, потускневшие лица... Запылённая страна, населённая людьми с затравленными глазами, людьми, которые боятся и зачастую ненавидят друг друга. Ненавидят, потому что боятся, потому что вынуждены делить жалкие метры коммуналки, толкаться в нескончаемых очередях, вырывая друг у друга всё... Любопытно, сколько людей пополнили народонаселение зоны меньшей (малой и не назовёшь уже) только по той причине, что соседу приспичило расширить жилплощадь?..

Однако, люди что-то строят. Как в большом муравейнике кипит работа... Что строят они? Тот ли самый рай сатаны, над которым корпели бесы, обманывая слепого Фауста? А эмигрантские фаусты с придыханием листают советские газеты и жаждут остановить мгновение, и оказываются пожраны пропастью. У Гёте, правда, ангелы всё же отбили у сатаны бессмертную душу заблудшего учёного. Что ж, может, и души всех этих несчастных наивных людей тоже будут спасены... За благие стремления и муки...

В муравейнике есть время отдыху. Тогда серый морок разбавляется режущими глаз всплесками кумача. Страна должна демонстрировать своё единство! В ногу шагают советские люди в день Первомая! Плакаты, знамёна, лозунги... «Уничтожим кулака, как класс!» «Смерть мировому империализму!» «Смерть вредителям!» Ну, и «да здравствует», конечно... Мудрый Сталин... Мудрое ОГПУ... Партия, ведущая нас от победы к победе... Лица на демонстрациях – счастливые! Особенно, у молодёжи... Она, молодёжь, воспитывается комсомолом и искренне верит в светлое будущее, и искренне готова на всё за «дело Ленина и Сталина»... Неискренние сияют всё равно. Попробуй, не посяй – мигом запишут в «подозрительные». Жалко, до боли жалко жар этих юных сердец. На что-то истратят его? Как ещё искалечат эти души?

Демонстрации дополняют парады, а парады – карнавалы. Кружатся под музыку маски, а в них – что-то пугающе страшное. В такие маски, лишённые собственного нутра, день за днём превращаются живые люди.

Всю дорогу вертелись в памяти строки Ивана Савина:

Вся ты нынче грязная, дикая и темная.  
Грудь твоя заплевана, сорван крест в толпе.  
Почему ж упорно так жизнь наша бездомная  
Рвется к тебе, мечется, бредит о тебе?!Бич безумья красного иглами железными  
Выколол глаза твои, одурманил ум.  
И поешь ты, плясешь ты, и кружишь над безднами,  
Заметая косами вихри пьяных дум.  
Каждый шаг твой к пропасти на чужбине слышен нам.  
Смех твой святотатственный – как пощечин град.  
В душу нашу ждущую в трепете обиженном,  
Смотрит твой невидящий, твой плюющий взгляд...  
Почему ж мы молимся о тебе, к подножию  
Трупами покрытому, горестно склонясь?  
Как невесту белую, как невесту Божию  
Ждем тебя и верим в кровь твою и грязь?!

Как ни опасно было, а перво-наперво устремился Родион в Глинское. Добирался окольными путями, боясь лишний раз попасться кому-нибудь на глаза. А лучше бы и не заглядывать сюда вовсе, остался бы дорогой уголок незамутнённым сладостным сном в памяти... Первый раз схватило сердце, когда спускаясь с холма не увидел он за ручьём, превратившимся в болото, белоствольного божелесья... Так и замер Родион на дороге, не веря своим глазам, а затем пошёл медленно по траве, давно забывшей, что когда-то была здесь тропинка.

Лишь ветшающие пни остались на месте заповедной рощи, вырубленной варварской рукой, и поросшая болотной травой падь зияла на месте памятного омота. Долго стоял над ним Родион, мучительно вспоминая всё бывшее здесь, и снова пошёл вперёд, тяжело переставляя переставшие слушаться ноги.

Часть забора, полурасташенного, полуразрушенного, поросшего мхом, ещё стояла, жив был и сад, одичавший и заброшенный. Но за первыми рядами деревьев открылось взгляду пепелище... От того, что когда-то было его домом, не осталось и следа. Лишь кое-где из зарослей татарника уныло торчали бесформенные обломки. Мрачными тенями кривились рядом искалеченные, обугленные фигуры деревьев, и пустыми глазницами выбитых стёкол глядела разрушающаяся оранжерея, в которой Родион когда-то последний раз обнимал мать.

Он стиснул голову и бросился прочь от страшного зрелища. Но это был ещё не конец испытаний. Впереди его ждало распаханное поле и вырытый для какой-то позабытой, видимо, нужды котлован на месте старого кладбища, где покоились останки нескольких поколений семьи Аскольдовых. Ни могил, ни крестов... Только древний вяз, как последний могиканин, ещё взирает с высоты на человеческое безумие и никнет усталыми, серебристыми ветвями. Родион, качаясь, подошёл к дереву, упал на колени, уткнулся лицом в шершавую кору и зарыдал, желая в тот миг лишь одного – умереть сию секунду и больше ничего не видеть и не знать.

...На обратном пути он встретил нескольких крестьян, посмотревших на него с подозрением. Но опустошённой душе Родиона не было дела до них. Даже если бы перед ним возникли сотрудники ОГПУ, ничто не дрогнуло бы в нём. Но они не возникли...

Добравшись до Москвы, Родион снял комнату у старухи-вдовы в подмосковном Пушкине, чтобы быть подальше от доглядчивых глаз. Несколько дней он просто бродил по столице, стараясь не запутаться в новых названиях, с горечью не находя с детства памятного и с радостью – обретая таковое на своих местах. Устроившись работать сторожем и тем закрепив своё положение, Родион решился приступить к главной цели своего приезда.

Два адреса, узнанных ещё за границей, он давно затвердил наизусть. Первый и затверживать не нужно было. Столько радостных дней было проведено там в детстве! Даже не верилось, что адрес это *живой*...

Дверь квартиры на Солянке открыла миниатюрная пышечка, в которой Родион сразу узнал сестру. Она узнала его также. Но не радость, а тревога отразилась на её вмиг побелевшем лице. Даже приглушённого вскрика не смогла сдержать:

– Откуда ты? Зачем ты приехал?! – но опаматовалась, застыдилась: – Прости... Проходи в комнату... – и озиралась перепугано, боясь одного – что увидят соседи.

Родион прошёл в знакомую комнату, теперь сильно загромождённую мебелью и от этого утратившую прежний уют.

– Откуда ты приехал? – тихо спросила Варя, прикрывая дверь.

– А я и не приезжал, – усмехнулся Родион, присаживаясь на угол письменного стола. – Меня больше нет. У меня другое имя, другая биография...

– Значит, ты приехал по поддельным документам... Зачем? Ты что... приехал по заданию? – в голосе сестры звучал неподдельный испуг.

– Да, – раздражённо отозвался Родион. – Чтобы свергнуть большевиков, распустить колхозы и установить монархию!

По молчанию Вари он понял, что шутка успеха не имела, и глухо вздохнул:

– Тебе не приходит в голову, что я мог приехать только для того, чтобы увидеть тех, кого люблю и кого ещё у меня не отняли?..

– Прости... Просто всё это так неожиданно... Я растерялась.

– Ты не волнуйся, Варюшка, я больше не потревожу тебя и не приду сюда. Я видел тебя, с меня довольно и этого. Расскажи мне только, как ты живёшь? Как вы с Никитой живёте?

– Хорошо живём, – бодро, как на уроке, ответила Варя. – Детки в школе учатся, мы работаем. Слава Богу, ни в чём не нуждаемся. Даже, вот, летом мальчиков в Ялту на целый месяц возили. Они у нас большие молодцы. Кока лётчиком быть хочет, а Леночка музыкой занимается.

– А вы с Никитой? Чем занимаетесь вы?

– Никита работает шофёром. А я... Домработницей в семье одного маршала.

– Маршала?

– Да. Но ты не думай! Он очень хороший человек! Честный, обходительный. Если бы все большевики такими были... И жена его, Раиса Львовна, очень мила. Я и с детками их занимаюсь, и по хозяйству. Платят они хорошо и, вообще, помогают, если что нужно. У них очень хлебосольный дом. Самые важные люди бывают. Калинин, Рыков...

– И они, конечно, тоже очень милы...

– Плохого про них не скажу, – сухо ответила сестра. – Очень интеллигентные, приятные люди. Ты зря всех под одну гребёнку... Среди большевиков тоже есть очень достойные, порядочные люди.

– Если они достойные и порядочные, то как они могут спокойно смотреть на то, как детей морят голодом? Как средневековыми пытками уничтожают невинных людей на Соловках и в других местах?

– Перестань, пожалуйста... Да, много горького и несправедливого происходит. Но ведь это всегда и везде есть. А наша страна только начинает заново отстраиваться. И это нелегко... Я верю, что со временем всё станет на свои места, утрясётся. И это случилось бы гораздо быстрее, если бы было меньше нападок извне, если бы не провоцировали... К тому же не могут же тот же Калинин или Рыков знать обо всём. Ведь многое происходит из-за произвола на местах.

– Перегибов, ты хотела сказать? – уточнил Родион, чувствуя, что от слов сестры в ушах начинает звенеть.

– Да, перегибов.

– Здорово же вас всех вышколили...

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду пепел Глинского и разорённые могилы наших родных! Я имею в виду Соловки с их пытками, через которые я сам – слышишь ли? – сам прошёл! Там день и ночь камни вопят о людских страданиях! И если бы только там! А вы сидите здесь... Прислуживаетесь у убийц или их пособников и радуетесь тому, что сыты, одеты и можете даже... отдыхать в Ялте! За пайку готовы забыть то, что не вправе забывать! За чечевичную похлёбку – первородство!..

– Ты говоришь зло, Родя! – на глазах Вари навернулись слёзы.

– Да, я говорю зло! Потому что мне нестерпимо видеть, как моя сестра отказывается от собственных мыслей и чувств и говорит передовицами!

– Не тебе меня судить! – вспыхнула Варя. – Да, я не святая. И не могу, не хочу быть мученицей. Я хочу, чтобы мой муж, мои дети были живы, здоровы и благополучны. Мы живём в этой стране, значит, должны соблюдать правила, которые в ней установлены.

– Правила, установленные преступниками на крови невинных!

– Пусть так! Но изменить их я не могу! Я хочу вывести своих детей в люди, Родя. И для этого я буду приспособливаться к тем условиям, которые я не выбирала, но в которые меня поставили. И не смей меня судить!.. Мы с Никитой не пережили того, что вынес ты, но, поверь, и на нашу долю досталось немало.

– Хорошо, я не стану дольше тревожить тебя, – Родион поднялся. – Мертвецы не должны вставать из гробов и смущать спокойствие живых – это противоестественно... Прощай.

– Постой... – Варя утёрла передником слёзы. – Прости меня. Я не виновата в том, что всё так... Ты оставь свой адрес. Я передам Никите, когда он вернётся.

– Может, тебе не стоит говорить ему обо мне? Тебе ведь так будет спокойнее. Да и ему тоже...

– Ты прав. Но я никогда ничего не скрывала от мужа. И уж тем более не скрою того, что жив его лучший друг...

– Пушкино, Оранжевая улица, дом 8. Вход с заднего крыльца. Запомнишь?

– Запомню. Может быть, ты хотя бы пообедаешь?

– Спасибо, я сыт.

– Ты вот ещё что... – Варя помедлила. – К Ляле не ходи.

– Почему? – насторожился Родион.

– Дядя Жорж работает на ГПУ, он ни в коем случае не должен о тебе знать.

– Это точно?..

– Из-за него Алексей Васильевич сослан в Пермь, а за ним уехала и тётя Мари.

Видимо, нет придела разочарованиям и утратам... Жорж – агент ГПУ! Не вмещалось в сознании... Весёлый красавец-балагур, лихой рубака-гусар, всеобщий любимец Жорж, приезд которого в Глинское всегда был праздником, в котором племянники не чаяли души – как же это возможно? В памяти пронеслись детские игры, уроки верховой езды, которые давал неподражаемый «дядинька», отчаянные скачки, в которых он всегда был впереди, перезвон его гитары и бархатный баритон, пикники, цыгане... Родион прислонился к стене и потёр ладонью лоб, пытаясь прийти в себя от очередного оглушительного известия.

– А Ляля? Она тоже агент ГПУ? – чуть слышно спросил он, чувствуя, как лоб покрылся испариной.

– Этого я не знаю. Но она жена своего мужа, для меня этого достаточно.

– Она – наша сестра, – ответил Родион. – Впрочем, спасибо за предупреждение. Я учту...

– Если всё-таки решишься пойти к ней, то иди на Арбат, в Вахтанговский театр. Большую часть времени Ляля проводит там.

– Спасибо.

Уже на пороге он, как в далёком прошлом, чуть приподнял сестру и расцеловал в обе щёки, влажные от слёз:

– Прощай, Варюшка! Дай Бог, чтобы молох обошёл тебя стороной...

Тяжело видеть пепелище отчего дома, тяжело видеть осквернёнными дорогие могилы и любимые с детства места. Но ещё тяжелее видеть близких людей, примирившихся с ложью и приспособившихся ко злу, превращающихся в покорные винтики чудовищной машины.

Всё же следовало испить чашу до дна. И, несмотря на предупреждение сестры, Родион отправился напрямик в театр Вахтангова. Впрочем, и туда он не рискнул зайти, предпочтя два часа прогуливаться по Арбату, ожидая появления Ляли и надеясь, что она будет одна.

Надежда оправдалась. Постаревшая Ляля одиноко спустилась по ступеням, на ходу закуривая папиросу. Годы сильно состарили её, но ещё больше – надломили. Пониженные плечи, старушечье, лишённое лоска платье, седеющие волосы, собранные в пучок, очки в ужасной, уродливой оправе... Но главное – усталость, измождённость в каждом движении, словно всякий шаг она принуждает себя делать, собрав в кулак всю оставшуюся волю. А ещё – страх, заставляющий её с болезненной тревогой озираться по сторонам, оглядываться. Кого боится она – жена красного командира? Что так непоправимо изломало её, побило, не оставив живого места?

– Ляля!

Нет, она не отпрянула, как давеча Варюшка, не побледнела – и без того пепельно бледным было её продолговатое лицо. Только медленно поправила очки, закивала головой, глухо проронила:

– Я всегда знала, что ты жив. Сперва чувствовала, а несколько лет назад Жорж устроил пьяный скандал... Всё кричал, что из-за меня его расстреляют. Я сначала не поняла, а потом

выяснилось, что его вызывали. *Туда...* И рассказали про тебя. Про побег, про то, что ты теперь в Европе, и как ты опасен для них... Они боятся... Свидетелей, вредителей, друг друга... Известно, кто ещё больше боится: мы или они... Поэтому они такие злые... Бедный Жорж очень испугался такого родства. А я обрадовалась... Тому, что хоть один из нас, из Аскольдовых, остался человеком... Я никому о тебе не сказала. Все тебя считали мёртвым. А на деле ты единственный был живым, тогда как мы все – давно умерли... Нас нет, от нас остались лишь тени... – Ляля говорила быстро, изредка судорожно сглатывая воздух и глядя куда-то не то в сторону от Родиона, не то сквозь него, будто бредила.

– Ляля, что с тобой? – тревожно спросил Родион.

Сестра с заметным трудом, наконец, сфокусировала рассеянный, больной взгляд на нём и отрывисто спросила:

– Зачем ты здесь, Родя? Зачем тебе это царство Аида, страна теней, в которой не осталось даже родных могил? Живые не должны сходить к мертвецам, оставив другим мертвецам погребать их...

Родион чуть встряхнул Лялю за плечи, взмолился:

– Очнись, прошу тебя! Поговори со мной по-человечески, как бывало раньше!

Ляля поднесла палец к губам:

– Тсс! Тени не должны разговаривать, разве ты не знаешь? – она вздохнула. – Не бойся, Родя, я ещё не сумасшедшая. Лишь в малой степени... И, во всяком случае, не больше, чем те, что делают вид, что ничего не видят и не понимают. А я всё вижу и понимаю. Поэтому и схожу с ума... Давай посидим где-нибудь. Ко мне идти нельзя, ты понимаешь.

– Значит, насчёт Жоржа – это правда?

– Варя предупредила?

– Да...

– Я не хочу говорить о моём муже, Родя, – Ляля закурила очередную папиросу.

В сгущающихся сумерках они неспешно пошли в сторону Смоленского бульвара.

– Ты, кажется, совсем не удивлена мне, – заметил Родион.

– В последние годы я разучилась удивляться. Я вижу, как самые порядочные люди вдруг начинают восхвалять подлость и подлости делать, как люди умные искренне восхищаются глупостью, как невиновных обвиняют в нелепых и чудовищных преступлениях... Всё перевернулось, Родя. Всё! Стало с ног на голову... Всё, все. Мне всё время кажется, что я существую в кошмарном, бредовом сне, от которого не могу пробудиться. Или хожу по лабиринту с кривыми зеркалами и не могу найти выхода. Мне кажется, я не удивлюсь, даже если передо мной возникнет архангел Гавриил.

– Почему ты никому не сказала, что я жив?

– Варя обрадовалась тебе, когда ты пришёл?

– Скорее, испугалась...

– Правильно. Вот, я и не пугала никого твоей тенью. А заодно и своей... Они меня, Родя, боятся, – Ляля горько усмехнулась. – Они, вообще, всего боятся, – она повела рукой вокруг. – Видишь этих людей? Они все боятся! Что «возьмут», что «заберут». Вот, он – советский новояз... Им ещё запестрят когда-нибудь книги. Тебе Варюшка не сказала, как в прошлом году её Никиту старшим по подъезду поставили? Оказали честь! – сестра нервно хохотнула. – В обязанность этих несчастных старших входит сопровождать ГПУ, когда они приходят в очередную мирно спящую семью, чтобы увести отца, мать, дочь или сына... Он, бедный, посидел через несколько месяцев, а потом впервые в жизни ушёл в запой. Этим только от «почётной» обязанности и спасся! А меня они избегают... Трусы...

– Ты выглядишь совсем больной и разбитой, – заметил Родя.

– Что, очень страшна стала? Знаю. Зеркало, к сожалению, льстить не умеет.

– Почему ты не поедешь куда-нибудь на отдых? На юг?

– Юг, север... Что за разница? Страх и удушье везде одинаковы. Разве ты не чувствуешь? Воздуха нет... Дышать нечем! – Ляля остановилась и, повернувшись к Родиону, покачала головой: – Ты напрасно вернулся, мон шер фрэр<sup>3</sup>... Здесь нельзя жить, понимаешь? Нельзя! Даже порядочно умереть – и то задача... Не провожай меня дальше, прошу тебя. Нас не должны видеть вместе. Это может быть опасно для тебя.

Встреча с Лялей оставила в душе не менее горький осадок, чем визит к Варе. Старшая сестра была начисто лишена грёз, но тоска, владевшая ею, довела её душу до болезни, с которой она не имела сил и желания бороться. Безысходность и обречённость сквозила в каждой черте её, в каждой нотке глухого голоса.

Оставалось узнать ещё одно, узнать главное, о чём он не решился спросить сестёр – узнать о её судьбе. Помочь в этом мог лишь один человек – Сергей. Но где искать его самого? Когда-то семейство Кромиади жило на Маросейке. Вероятность того, что и этот адрес живой, была ничтожна, и Родион надеялся лишь на одно – что в маросейском храме, чьими верными прихожанами были Кромиади, знают что-то об их судьбе. Наводить подобные справки было опасно, но ничто не могло угасить той мучительной тяги, которую он испытывал.

Полный сомнений и колебаний, Родион отправился на Маросейку. Приехав аккурат к концу литургии, он в нерешительности замялся чуть поодаль от храма, разглядывая выходящих на улицу прихожан. Внезапно по телу пробежала дрожь, а в горле пересохло – с крыльца неспешно спускалась вечная гостья его сновидений, та, ради кого он пришёл сюда. Это был явный Божий перст – не понадобилось ни расспросов, ни розысков, встреча словно посылаясь свыше.

Однако, Родион не подошёл к Аглае, заметив с нею тоненькую девочку-подростка. Он незаметно последовал за ними, и вскоре уже знал их адрес. Дальнейшее «следствие» не составило большого труда. Несколько дней наблюдений принесли Родиону ещё одно безотрадное открытие: она была замужем за его незаконнорожденным кузеном-большевиком и растила дочь... Если бы хоть кто-то другой оказался её мужем! Но это подобие человека, этот революционер-безбожник, вероятно, отпетый негодяй... Почему именно с ним?! То, что счастливым соперником оказался именно Замётов, ощущалось Родионом как двойное унижение. Ревность и обида испепеляли его. Тем не менее он вновь и вновь приходил к дому Аглаи и подолгу блуждал вокруг, пытаясь представить встречу, ища слова, утирая лихорадочный пот и не решаясь дать о себе знать. Если сёстрам не нужен он, то для чего – ей? Ей, предавшей ещё раньше? Ей, с которой связывали лишь недели романтической влюблённости и грёз? Она, должно быть, и думать забыла о той давней истории.

И всё-таки Родион решился. В этот день он шёл за Аглаей по пятам с момента выхода её из дома. В отличие от сестёр она почти не переменилась. Молодая свежесть ушла, уступив место зрелой красоте, в которой не было ничего наносного, лишнего. Та же стройность и стать, то же открытое лицо с гладкой, матовой кожей, те же крупные, бархатные глаза – прямые и волевые, казавшиеся неспособными лгать. Золотисто-медовые волосы уже не в косы заплетены, а аккуратно уложены в пышную причёску, подобраны сзади, обнажив стройную шею. Всю дорогу поглощал Родион глазами ту, что все эти годы мстилась ему и на войне, и в лагере, и в изгнании, и лишь на обратном пути набрался духу подойти...

Объясняться в трамвае было невозможно, и он ограничился тем, что шепнул ей адрес. Если чудо случится, и она не забыла – придёт. А если нет, то и лучше обойтись без тягостных объяснений...

Вернувшись в своё пристанище, Родион не мог найти себе места. Хозяйки не было дома, и он напряжённо вслушивался в каждый звук, вздрагивал, уловив чьи-либо шаги, то и дело подходил к окну и смотрел на дорогу. Он страстно желал, чтобы она пришла, и в то же время боялся, не зная, что сказать ей, и терзаясь одновременно обидой за давнишнее и ревностью к настоящему.

Когда, наконец, стемнело, Родион в изнеможении опустился на скрипучую кровать. Он твёрдо решил выждать неделю, а затем бежать прочь от Москвы. В какую-нибудь далёкую глушь, подальше ото всего и всех.

Заслышав робкое поскрёбывание, Родион заставил себя не двинуться с места: ни к чему, в такой час могут скрестись только мыши. Но поскрёбывание переросло в стук, и тут уж он вскочил с постели прыжком и, боясь поверить чуду, распахнул дверь.

Аглая вошла на крохотную веранду и, ни слова не говоря, уронила голову ему на грудь, обвила руками, а затем стала оседать на пол и, вот, уже сидела, обнимая его ноги и по-бабьи взхлёб плача. Родион растерялся. Разом отступила и обида, и ревность перед той, которая одна лишь и ждала его и без страха, бросив всё, прибежала по первому зову.

– Полно, Аля, что ты... – пробормотал он, пытаясь поднять её. Но Аглая поймала его руку и, прижав её к мокрому лицу, подняла на него заплаканные глаза, прошептала:

– Прости меня! Слышишь? За всё прости! Если бы ты знал, как я ждала тебя... Все эти годы... Ни на день не забывала...

– И я не смог тебя забыть, Аля, – Родион, наконец, поднял её, погладил по плечам, успокаивая. – Мои сёстры обе спросили меня, зачем я приехал. Я не сказал им, я и себе этого не говорил... А теперь скажу. Я сюда только для тебя приехал, для одной тебя, – он чуть отстранился. – Я понимаю, много воды утекло, но для меня ничего не изменилось. Я понял это, когда ты вошла... Никто не пришёл бы ко мне сюда. А ты не побоялась... Ты, наверное, спешишь? Тебе будет поздно возвращаться одной...

– Я не спешу, – покачала головой Аглая, приблизившись. – Я сказала, что отец попросил меня приехать, что я еду проведать его дня на три... Я одного только боялась, что ты прогонишь меня.

– Три дня... – повторил Родион, чувствуя, как грудь наполняется жаром, а руки начинают подрагивать от захлёстывающего чувства. Он провёл рукой по её щеке, коснулся горячими губами волос, затем лба, глаз, губ... Вкус её губ опьянил, закружил голову, но Родион сдержал себя и уточнил снова: – Значит, останешься?

Аглая не ответила, а медленно извлекла шпильки, дав свободу своим русалочьим волосам, тяжелыми волнами покрывшим её плечи и спину. Так же прекрасна была она, как шестнадцать лет назад у омута в божелесье, только не осталось тогдашней робости и юной стыдливости. Девочку сменила женщина, не менее желанная и сама без страха идущая навстречу этому желанию...

В эту ночь он забыл и обиду, и ревность, и всё, что было с ним, оказавшись во власти абсолютного счастья, о котором не мог и мечтать. Однако, при свете дня всё возвратилось...

Полдень давно миновал, когда Родион проснулся. Аглая уже не спала, а сидела рядом, обнажённая, и смотрела на него. Любой скульптор, вероятно, был бы счастлив лепить с такой натурщицы Венер и Афродит, но Родион внезапно почувствовал болезненный укол от мысли, что не он один созерцал эту красоту.

– Зачем ты предала меня тогда, если любила? – спросил он.

Аглая потускнела, закуталась в простыню:

– Я не предавала тебя, Родя, никогда. Я никого и никогда не любила, кроме тебя.

– Тогда зачем?

– Не мучай меня, Родя, прошу тебя... Так нужно было. Во всяком случае, тогда мне так казалось. Со мной случилась беда, и я не смела прийти с ней к тебе. Ведь ты был для меня... царевичем... Почти полубогом! Я казалась себе такой чёрной и негодной рядом с тобой... Я решила, что лучшее, что я могу сделать для тебя, это освободить тебя.

– Безумие какое-то! Ты сломала жизнь нам обоим своим благим намерением, Аля... Мы потеряли целых шестнадцать лет! Неужели ты не чувствовала, как сильно я люблю тебя?

– Чувствовала, но не смела поверить своим чувствам. Поверь, я очень дорого заплатила за это. Так дорого, что страшно вспоминать. Но это – пусть, поделом. Но твоей боли я себе до смерти не прощу, и всегда буду себя перед тобой преступницей считать.

– Полно! – Родион привлёк Аглаю к себе. – Какая ты преступница... Запутавшаяся девочка, которую я не смог понять и удержать от глупого и рокового шага. Не кори себя. Пусть эта ночь положит конец тому, что нас разъединило когда-то... Пусть прошлое останется прошлым.

– А будущее? Что нас ждёт в нём? Я не хочу больше разлучаться с тобой, не хочу снова потерять тебя!

– И я не хочу, – ответил Родион. – Но я свободен. Нищ, бесправен, но свободен. А у тебя ведь... семья...

– Я брошу его! – решительно сказала Аглая, и глаза её вспыхнули. – Он меня не остановит! И не вправе остановить!

– А как же твоя дочь? – вздохнул Родион.

– Дочь? – отрывисто переспросила Аля, вздрогнув. Она внезапно отстранилась, поднялась с постели и ответила: – У меня нет дочери, Родя.

– Как так? Я своими глазами видел вас вдвоём.

– Ты видел Нюточку?

– Да, видел.

– И что, на кого она, по-твоему, похожа?

– Не знаю... – растерялся Родион и тотчас усмехнулся: – По крайней мере, не на Замётова.

– Она похожа на отца, Родя, – голос Аглаи дрогнул.

– В самом деле? Стало быть, Замётов не отец?

– Так же как и я – не мать... – еле слышно проговорила Аля. Она подошла к своей сумке, лежавшей на стуле, и, вынув из неё две фотокарточки, подала Родиону: – Смотри!

Родион взял фотографии и вздрогнул: на одной был запечатлён он вместе с матерью, на другой Аглая со светловолосой, большеглазой девочкой, лицо и улыбка которой странным образом походила на лицо улыбающегося молодого офицера с первой карточки...

– Что ты хочешь сказать этим? – проронил Родион.

– Только то, что сказала. Нюточка копия отца... Ты её отец, – Аглая запнулась и с видимым трудом dokonчила: – а мать – Ксения...

## Глава 10. Плач Рахили

– Федичка мой! Федичка!... – от этого истошного, душераздирающего крика проснулся бы и мёртвый. Голосила, прижимая к иссохшей груди окоченевшее тело трёхлетнего сына, свояченица Дарья, ещё недавно дородная, румяная баба с заливистым смехом...

Федичка был пятым её ребёнком, которого отняла злодейка-судьба. Оставалась старшая девочка Настя, сидевшая теперь чуть поодаль, закутавшись в тряпье, и смотрящая на мать расширенными, пугающе неподвижными глазами.

Потянулись к несчастной кое-кто из баб, говорили что-то, не утешая, так как у каждой из них ближе или дальше отсюда остались свои маленькие могилки, которые никаких слёз не достанет оплакать.

А Любаша лежала. Надо было подойти тоже, но хотелось одного – забыться, забыться навсегда от нескончаемого ужаса. И невольно подкрадывалось раздражение: не завопи Дарья, и хоть несколько часов забвенья дал бы сон. Всё же приневолила себя, подошла к свояченице. А зачем? Ведь и слова вымолвить мочи нет – да и какими словами такому горю поможешь?

Отец, как всегда, оказался прав. Ещё с детства усвоила это Любаша: мать может ошибаться, может и бабка, но не отец. Его глаз дальше других видел. Почему же не вняла ему в этот раз? Почему повела себя, как мужнина жена, а не отцовская дочка-ягодка? А ведь и Боря сам – разве по своей воле решал? В его семействе своей волей разве что дядька Андриан жил, а все прочие слушались свёкра.

Филипп же Мироныч упёрся, что твой бык, решив не отдавать своего кровного. После очередного собрания, на котором уполномоченным было без обиняков предложено вступить в колхоз или быть записанными поимённо в перечень врагов советской власти, даже Боря с братьями попытались образумить закусившего удила родителя. Но не тут-то было. Свёкор только глазами выпученными блеснул:

– Дураки вы вымахали! Только хвосты коровам крутить вам! Да нешто вы не понимаете, что если мы даже добром этим татям всё отдадим, то всё равно своими для них не станем! Всё равно свежуют раньше или позже! А, значит, биться надо! Мужичья сила – всегда великая сила на Руси была! Вот, обождите, подымется народ!

– Да какой народ подымется, тятя?! – воскликнул Боря. – Все ж бабами да детьми связаны! Никто на рожон не полезет!

– Бабы! Дети! Эх вы! Сопляки! Только за подолами да люльками прятаться горазды!

– Лично я с отцом согласен, – заявил Илья, старший из братьев, не обратив внимания на жалостливый Дарьин взгляд. – Главное, время потянуть. Глядишь, что-то и повернётся наверху. Раз уж повернулось. Поглядим, чья правда переважит.

– Правд, Илюшка, здесь нет. Есть правда, наша, мужичья, и их большевистская кривда. И если есть Бог, то правда кривду одолеет.

– Не кошунствовал бы ты, Мироныч, – укорила сына Фетинья Гавриловна.

– А вы, мамаша, помалкивайте, молитесь, вон, лучше за нас, грешных.

Фетинья вздохнула и перекрестилась. Её мытарствам не суждено было продлиться долго. На вторую неделю пути в обледенелом вагоне для скота она преставилась, и на ближайшей остановке тело её вынесли, не позволив родным даже проститься с бедной старухой по-человечески. Как и других погибших в пути, могилы у неё не было: общий ров, кое-как присыпанный землёй. Та же участь несколькими днями ранее постигла и её мужа, Мирона Ильича. Этого полупараличного старца чекисты не пожалели, как и малых детей, и Боря с младшим братом Николаем до вагона несли деда на руках... Старику отчасти можно было позавидовать. Пребывавший последние годы в слабоумии, он практически не понимал, что происходит. Мирон

Ильич чувствовал холод и голод, чувствовал боль, но не чувствовал самого страшного и невыносимого: как гибнет всё то, что он, некогда крепостной крестьянин, сам выкупивший себя из зависимости, строил многие годы. Его сын такого облегчения был лишён...

Лютым февральским днём в деревню нагрянуло ГПУ. Прислали вооружённые наряды в поддержку комсомольцам, двадцатитысячникам и голыдьбе. Группы активистов пошли по намеченным домам. Перво-наперво нагрянули к дядьке Андриану. Тот с обычным невозмутимым видом сидел за столом, прихлёбывал чай с блюдечка и закусывал баранкой.

– Батюшки святы! – приветствовал вошедших. – Сколько гостей в столь ранний час! Боюсь, для такой оравы у меня амущества не хватит: придётся вам мои портки надвое драть и по одной штанине носить. А, Демьяш? Тебе, чай, не впервой?

– Договорился ты, вражина, – хрипло отозвался Демьян. – Больше власть срамить не будешь!

– Бог с тобой, Демьяш! Кому это только в голову прийти может – нашу матушку-власть срамить? Сама бы не срамилась, вон какая штука!

– Ну, хватит! – стукнул кулаком по столу один из рабочих.

– Уважаю ваши внушительные кулаки, – ухмыльнулся дядька. – Что же, последний ультиматум? Кошелёк или жизнь?

– Я б тебе ультиматума не ставил, гнида, зараз шмальнул! – рявкнул Демьян. – Да уж больно начальство с вами миндальничает! Поэтому в последний раз: колхоз или тюрьма?

– Тюрьма, товарищи тюремщики, тюрьма! – ответил Андриан Миронович. – Раз вы на свободе, так порядочным людям только в тюрьме и место!

Стон и крик стоял в тот день по деревне. Не жалели ни старых, ни малых – вышвыривали в снег, глухие к мольбам, и, не в силах дожидаться, тут же делили отнятое добро. Павами выступали вчерашние оборванки – жёны лодырей и пьяниц, вырядившись в наряды, украденные из чужих сундуков. Любаша сразу узнала шубу и платок своей закадычной подружки Веры на ивашкиной жене Натахе, щерившей остатки зубов, выбитых по пьяной лавочке мужем. А ведь сколько раз Веркина мать помогала Натахе, сколько старых, но хороших вещей отдала ей, вечно ходившей в рванине, сколько подкармливала её голодных и сопатых ребятшек... И, вот, мстила Натаха за добро, кичилась своими сынками-комсомольцами, высоко задирала острый, некрасиво выступающий подбородок.

– У-у, кикимора! – погрозил ей десятилетний Веркин братец и унырнул от греха подальше за амбар.

Когда комиссия явилась по душу Филиппа Мироновича, то вначале должна была потратить некоторое время, чтобы сломать наглухо запертые мощные ворота. Свёкор ждал их у крыльца с факелом в руке. Ещё загодя закупил он керосин и, едва узнав о начавшемся погроме, несмотря на сопротивление большинства родных, вместе с Ильёй облил горячим сруб, заключил, кривя прыгающие губы:

– Теперь полыхнёт, так полыхнёт!

– Тятя, окстись! – воскликнул Николаша, ещё почти мальчишка, повис у отца на локте: – Хоть скотину-то пожалей! Она чем виновата?!

– А какая разница – пожгу я её, или в колхозе заморят?! – взревел Филипп Миронович, отбросив сына.

– Тогда и меня с ней жги!

– И сожгу!

Рассудок свёкра явно мутился последние дни. Любаша с испугом видела, как переменялось его лицо. Некогда спокойное, дышащее здоровьем, теперь оно осунулось, покрасневшие глаза словно выкатились из орбит, волосы и борода были всклокочены. В отличие от отца Илья сохранял спокойствие, но отчего-то шёл за родителем. Совсем недавно они с Дарьей готовились отмечать новоселье: их новый дом был почти отстроен. Илья мечтал, наконец, зажить

самостоятельно, самому стать хозяином. И, вот, рушилась мечта, отнималось то, во что вкладывались силы и душа. Им обоим, и сыну, и отцу, легче было придать огню нажитое и погибнуть самим, чем видеть его в чужих руках, а самим оказаться, как говаривал свёкор «в батраках у лодырей».

Когда комиссия вошла, все домочадцы были на дворе. Бабы плакали, умоляя Филиппа Мироновича одуматься. Тянула к нему дрожащие руки старуха Фетинья, голосила Ульяна Кузьминична. И никто не смел приблизиться к замершему с факелом в одной руке и ружьём в другой свёкру. Только Николаша, не замеченный отцом, бросился на задний двор: догадалась Любаша – решил отворить двери скотине, чтобы та не погибла.

– А ну, прекрати дурить, Филипп! – крикнул Демьян, а у самого предательски задрожали колени.

– Только подойди! – отозвался свёкор, вскинув ружьё. – Мне терять нечего! Кто ползет, как собаку пристрелю!

Затеснились активисты за забор да друг за дружку, никому под шальную пулю попасть не хотелось. А кабы все их так приняли?..

– Дурак ты, Филька! Семью пожалей!

– А мне теперь назад дороги нет! И не тебе о семье моей заботиться! Ты у ней, у моей семьи, последний кусок отнять пришёл! Баб своих в тряпки моих дочерей рядить собрался? Выкуси, снохач! Не бывать тому!

Распалённый перепалкой, поздно заметил свёкор с боков подбирающихся милиционеров. Залаял на них Лаврушка и в тот же миг завизжал и, упав на снег, прополз несколько пядей к хозяину, оставляя кровавый след... Филипп Миронович оглянулся и, поняв, что окружён, крикнул отчаянно:

– Ах, вот вы как? Ну, так гори же вся моя жизнь синим пламенем!

Выстрел грянул, но могучая рука свёкра успела швырнуть факел в дом: свежий сруб, подпитанный керосином, вспыхнул, как свеча. В тот же миг рухнул ничком и стрелявший, сражённый пулей Ильи...

– Пожарную команду вызывайте! – раздались крики.

– Воды сюда, воды!

Филипп Миронович тяжело осел на снег, повалился на бок в нескольких шагах от застреленного пса. К нему бросилась Ульяна Кузьминична, упала, расставив руки, на безжизненное тело, завывла протяжно:

– Убили, убили кормильца! Проклятущие...

А активисты суетились вокруг. Визгливо распоряжался Демьян:

– Из амбара, из сарая тащите всё, пока не занялось! Живей! Живей! Кулацкое добро колхозу нужно!

Милиционеры тащили избитого Илью, за которым, спотыкаясь, бежала растрёпанная, зарёванная Дарья. Она потом долго металась ещё, когда мужа увезли, моля карателей пощадить её малолетних детей, разрешить ей уехать с ними. Дети в это время испуганно жались к прабабке, чуть слышно шепчущей молитвы.

Младшая дочурка родилась у Дарьи в январе. Она первой и сгнула в первые же дни пути, как ни старалась мать укутать её потеплее. Да и чем укутаешь в такую стужу? Тем более, что даже те немногие пожитки, что успелось взять из обречённого дома, были частично отобраны. Потеряв дочь, Дарья прошептала:

– Погубили нас Илюша с тятей, погубили...

– Полно, – ответил Боря. – Другие не сопротивлялись, а обречены на то же...

И то была сушая правда. Много чёрных, горестных подвод потянулось из окрестных деревень к вокзалу. И не только зажиточных, но и середняков вычёркивала власть из списка своих граждан, а многих и из самой жизни.

Никто не знал, какой путь ждёт впереди, не знал грядущей участи. Участь эта предстала сначала тем самым вагоном смерти, отнявшим старуху Фетинью с мужем, четверых детей Дарьи, дочь Веры, сына Бориной сестры Зины и Игошу... Две недели боролась Любаша за жизнь первенца, две недели, как другие матери, кутала его и пыталась согреть собственным дыханием, но смерть оказалась сильнее.

Его тоже отняли у неё на очередной остановке и, Бог знает, погребли ли хоть как-то... После этого Любаша словно онемела. Её охватило безразличие к грядущему, к окружающему. И напрасно муж заботливо предлагал ей крохи собственного пайка, который время от времени, точно спохватившись, что везут живой груз, бросали изголодавшимся заключённым конвоиры. От плохой воды многих косила дизентерия, и за время пути душ в поезде немало поубавилось.

Первые дни Любаша ещё волновалась, спрашивала у мужа, куда их могут везти. Боря пожимал плечами, а старик Федосей ответил:

– В Сибирь, девонька. Куда ж ещё могут?

Их, действительно, привезли в Сибирь. Через три недели мытарств выбросили в тайге вместе с пожитками. Уже вечерело, и холод пронизывал насквозь. Никакого жилища поблизости не было, но было кое-что из инструментов...

– Руки есть, топор есть – как-нибудь справимся... – вымолвил Боря.

В темноте, освящённой лишь огнями костров, в сугробах по колено измученные люди стали валить деревья и строить временное «жилище». Перво-наперво поставили опорный каркас из жердей, к нему прислонили свежесрубленные ели, обложили лапником и для утепления сверху засыпали снегом. В этом бараке-шалаше умельцы навесили дверь, у которой наладили печь-«буржуйку», по обеим сторонам и в центре на всю длину растянули в два-три яруса сплошные нары из жердей. На одну душу в этом «жилище» пришлось по одной десятой квадратного метра...

– Ничего-ничего, – бодрился Боря. – Были бы руки и голова на плечах... Вот, сойдёт снег – не так отстроимся! Избы срубим, огород насадим. Проживём!

Но до той поры, пока снег сошёл, рядом с шалашом успело вырасти кладбище, на котором нашла последний приют свекровь и ещё многие, многие...

Детей, которых было так много в начале пути, почти не осталось, и уже привычным стал плач матерей в тяжёлые ночные часы. Днём за работой тоска притуплялась, а ночью грызла лютым волком.

Измученная Дарья, наконец, затихла, прижав к себе безмолвную дочь. Подле неё остался лишь Николаша, обнимавший несчастную за плечи. А совсем рядом неподвижно сидела, обхватив колени, Зина. Дорога отняла у неё двоих: трёхлетнего сына и дитя, бывшее ещё в утробе. Сама после выкидыша она осталась жива чудом. И неужели только затем, чтобы увидеть, как день за днём истают два её мальчика-близнеца? Они лежали теперь рядом с ней, укрытые шубой, неподвижные, исхудавшие, посиневшие – как не живые. Цинга уже взялась за них, как за большинство обитателей барака. Зина смотрела на них немигающими, отчаянными глазами, изредка переводя их то на Дарью, то на спящего или притворяющегося таковым мужа.

Любаша пожалела, что рядом нет Бори. Вместе с ещё тремя мужиками он накануне отправился в находившийся неподалёку совхоз в поисках работы и должен был вернуться лишь на другой день. Горе Дарьи растравило в ней её собственное, и хотелось уткнуться в мужнино плечо, услышать его всегда ободряющее слово. Одно укрепляло: с собой она дала Боре для отправки письмо сестре Аглае. Зная положение её мужа, она цеплялась за соломинку: вдруг хотя бы детей сумеет вызволить он на время, пока не удастся худо-бедно наладить жизнь здесь...

Зина так и не решилась приблизиться к свояченице, боясь её. Любаша понимала этот страх. Зина потеряла сына, но имела ещё двоих детей и мужа, Любаша также имела любимого и любящего мужа, с которым в их молодые годы могла народить ещё много детишек. У Дарьи

не осталось никого: ни пятерых детей, ни мужа... Лишь одна единственная дочь, чахнувшая от лишений. Рождённой страданием чёрной зависти суеверно боялись и Зина, и Любаша.

Снова улёгшись на своё место, она не могла уснуть. В бараке слышались приглушённые всхлипы – многие души растревожило новое горе. Голос старика Федосея, знатока Писания, заменявшего для их колонии священника, прошамкал из угла:

– Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, ибо их нет...

## Глава 11. Совесть

Письмо было не очень длинным, написанным огромным почерком без знаков препинания и абзацев. Но будь оно даже вдесятеро короче и нацарапано булавкой, этого бы хватило, чтобы всякое, ещё не покрытое непробиваемым панцирем сердце почувствовало себя угрожённым. Такая нестерпимая волна человеческого горя шла от этих строк, такой оглушительный вопль о несправедливости звучал в каждой букве, что Александр Порфирьевич по прочтении выпил целый стакан ледяной воды и промокнул шею.

Жены не было дома. Так же, как не было вчера, и позавчера, и два дня на минувшей неделе. Эти внезапные загадочные исчезновения и хуже того столь же внезапно расцветшая красота буквально изводили Замётова самыми мучительными подозрениями.

На сей раз она сказала, что едет проведать Надю, часто болевшую в последнее время. Повод был уважительный, и ничего бы против не имел Александр Порфирьевич, если бы не глаза жены... О, женщины, несомненно превосходные актрисы! Особенно красивые женщины! Особенно, когда им нужно провести мужчину и добиться своего. Но даже самая артистичная женщина не сможет скрыть одного – влюблённости и рождённого ею счастья. Глаза выдадут её своим изменившимся блеском.

Глаза Аглаи не блестели все те годы, что они жили вместе, потухнув после той проклятой ночи. Никакая ласка, никакой подарок не мог заставить их блестеть. А тут – две звезды в обрамлении густых ресниц!

Одинокое ворочаясь ночами на диване, Замётов готов был расплакаться от досады, злости, жалости к самому себе. Ведь только-только ему показалось, что жизнь начала налаживаться, только-только ушло из жены то непреодолимое отвращение, что питала она к нему столько лет. И, вот, опять – мука, страшная, невыносимая...

Он несколько раз пытался следить за ней, но безуспешно, счастливого соперника обнаружить не удалось. Унижаться наёмом соглядатая Александр Порфирьевич не желал. К тому же он и так не имел сомнений в том, что жена ему изменяет. Одна эта мысль бросала в ледяной пот. После всего что было... После стольких его покаяний... После собственного прощения... Кто же тот, другой? Откуда взялся?..

Не раз силится Замётов представить себе его. И всякий раз видел перед глазами одно и то же: их обоих в самых откровенных положениях. словно нарочно изводя себя, он представлял жену в объятиях другого и, хотя ни разу не видел того, сравнивал себя с ним. Сравнение становилось ещё одной мукой, так как зеркало никогда не бывало столь милосердно, чтобы польстить Александру Порфирьевичу...

Однажды он смотрел, как она спала. Безмятежно, чему-то улыбаясь... Ему вдруг почудилось, что ей непременно должны видаться во сне ласки любовника. Впервые за эти два года, захлебнувшись яростью, он хотел забыть свой обет и взять жену силой, разрушив её проклятые грёзы. Но... Рядом мирно спала Нюточка, и, прокусив до крови губу, Замётов ушёл к себе.

Вдруг отчаянно пожалелось, что нет больше в Москве отца Сергия. Сколько раз откладывал Александр Порфирьевич сходить к нему, боясь доноса и санкций начальства, а теперь бы бегом побежал, ища поддержки и совета. Но отца Сергия не было, и тем безраздельней оказывалось чёрное одиночество.

А тут ещё это письмо... Казалось бы, какое дело Александру Порфирьевичу до родни жены, изменяющей ему и, в конце концов, не имеющей даже времени прочесть адресованное ей письмо сестры? А поди ж ты!.. Хотя разве важно, сестра или нет... Помнил Замётов Любашу – маленькую хорошенькую девчущку, которую тетешкал на острой коленке Игнат. Она-то – чем виновата в грехах сестры или кого другого? А чем виноват её муж? А Дарья, потерявшая

на этапе троих малышей? А старики, всю жизнь работавшие в поте лица и в итоге изгнанные из дома и заморенные на том же этапе? А тысячи таких же, как они?.. И что же это, наконец, за идиотический план – истребить работающих, дельных людей и сделать ставку на ни к чему не годную шантрапу?

Снова, как уже несметное количество раз, жгло душу одно слово: *несправедливо!* Хотя, к примеру, никогда не ладилось у Александра Порфирьевича отношения с тем же Игнатом, но трудолюбие старика было им всегда уважаемо. И трудолюбие тысяч таких же игнатов по всей России – также. Всю жизнь Замётов питал сугубое уважение к людям дела. И на царское правительство лютовал среди прочего за то, что расплодило оно лодырей-аристократов, лодырей-чиновников, которые жировали в то время, когда люди труда еле сводили концы с концами. Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе... Больше всего хотелось Александру Порфирьевичу, чтобы пустоплясы, наконец, почувствовали тяжесть ярма, а рабочие кони получили овса досыта. А что же вышло? Самых-то трудяг в обмолот и пустили: крепких крестьян, инженеров, объявляемых повсеместно «вредителями», и скольких, скольких ещё! А пустоплясам – раздолье! От папашеньки Дира, черти бы его взяли, до деревенских пьянчуг... Не говоря уже о партийных и комсомольских активистах, которые знай себе только глотки драть умеют. И кто же строить будет «светлое будущее»? Митинговые пустоплясы на трудовых костях? Ничего не скажешь, установили «справедливость» на одной шестой земного шара...

Потерянно бродил Замётов по комнате, вертя в руках письмо. Нет, не мог он просто так отбросить его. Ведь это он, член партии с пятого года, строил эту «народную» власть. Неужели для того, чтобы власть народ уничтожила? Ошпаренная чужим горем душа требовала действия, но что мог сделать простой инженер, пусть и не на последней должности в ведомстве путей и сообщений? Тут нужна была фигура куда покрепче. Лихорадочно перебирал Замётов в памяти влиятельных знакомых. Одни давно числятся в троцкистах, другие наоборот, верные псы при хозяине, третьи не того статуса...

Но всё же всплыла фамилия – Толмачёв! С ним, конечно, никогда приятелями не были, но в Шестом году в Яренском уезде Вологодчины сосланные под надзор полиции за революционную деятельность были в отношениях добрых и даже дружеских. С той поры пути разошлись далеко.

Володька Толмачёв по отбытии срока жил на Черноморском побережье Кавказа. В 1911 году был призван в армию, после демобилизации женился, одна за другой народились на свет две дочурки. Пожить семейной жизнью Толмачёву, впрочем, было не суждено: с Четырнадцатого года он был вынужден вновь тянуть лямку – на сей раз в Новороссийске. Тут-то и застала его долгожданная, и начала расти Володькина карьера, как на дрожжах.

В марте Семнадцатого именно он организовал и возглавил Совет солдатских депутатов Новороссийского гарнизона. В ноябре был назначен заведующим военным отделом, а затем – военным комиссаром Новороссийска. В июне следующего года участвовал в затоплении кораблей Черноморского флота, отказавшихся сдаться немцам по условиям Брестского мира. С Девятнадцатого – заместитель начальника Политического отдела 14-й армии. Далее – член реввоенсовета Крыма, ответственный секретарь Кубано-Черноморского областного комитета партии, председатель Исполнительного комитета Кубано-Черноморского областного Совета, заместитель председателя Исполнительного комитета Северо-Кавказского краевого Совета и, наконец, нежданно-негаданно – нарком внутренних дел РСФСР!

Отчего вспомнилось теперь именно о нём? Оттого ли, что ещё на Вологодчине почувствовался в этом крепком парне, сыне костромского учителя не только идейный борец, но – человек? Причём, такой, который не предаст и не продаст, надёжный человек – редкое качество в пронизанные ложью времена.

Хотя и поздний был час, а не смутился Замётов – поехал прямо к наркому, зная, что тот работает допоздна, а к тому буквально на днях вернулся из инспекционной поездки по поселениям раскулаченных.

Владимир Николаевич ждать товарища далёкой молодости не заставил и по первому докладу пригласил в кабинет. Мало изменился нарком – разве что заматерел, да чуть пробивается седина в коротко стриженных волосах. Вот, только лицо какое-то помятое, почерневшее: под глазами мешки, морщины углубились. Знать, гнетёт что-то товарища народного комиссара...

– С чем пришёл, Саша? – спросил Толмачёв, словно было им всё ещё по двадцать лет, и только вчера скучали они в вологодской ссылке.

– Да, вот, принёс тебе почитать... – Замётов протянул наркому письмо.

Тот лишь скользнул по нему взглядом, спросил:

– А что, Саша, не боишься мне такие письмеца показывать?

– Да ведь ты, Володя, вроде не Ягода и не Менжинский. Вместе с тобой щи с пирогами лопали да водочку пили со скуки...

– Мда, хороши пироги были у тётки Степаниды... Добрая душа! Каждый день её малыцы нам корзинку со снедью притаскивали, а заодно все поручения выполняли.

– Угу. А Дашуха ещё и стирала, и прибирала у нас... И не только...

– Хорошая девчушка была, – вздохнул Толмачёв и, достав из шкафчика графин с водкой, наполнил две рюмки. – Выпьем, что ли, за скучные годы?

– Выпьем, – согласился Замётов и, осушив рюмку, заметил: – Вот, подумал я тут, Володя... Мы с тобой за народную власть сражались. Правительство нас в ссылку определило... Страшнейшую! Жили мы с тобой в милейшем городишке, окружённые ореолом мучеников и страдальцев за правду. Сердобольные души тащили нам снедь да пиво... Чёрт побери, мы питались там лучше, чем дома! Заняты были лишь тем, что празднично убивали время... Чтоб не потерять квалификации, с пьяных глаз мальчикам этим, а то и непотребным девкам марксово учение изъясняли. А теперь, вот, наша власть пришла... И тысячи ни в чём неповинных людей отправляют в ссылки... Да только не такие, как у нас! Им там снеди и пива не даст никто! А тому, кто даст, пожалуй, тоже не поздоровится. Неужели мы за это боролись, Володя?

– Ты сейчас соображаешь, что несёшь? – хмуро спросил Толмачёв.

– Что ж такого?

– Я не Ягода, это ты верно подметил. Но ведь и я на службе!

– Мы все – на службе... Вот, только чему мы служим, Володя? Какое счастье всего человечества, какую справедливость можно построить на костях младенцев?

Владимир Михайлович посмурнел ещё больше, снова наполнил рюмки. Выпили, не чокаясь, как по покойнику.

– Этой писульки ты мог бы мне не приносить, – сказал Толмачёв. – Я это всё, – он сделал ударение на последнем слове, – своими глазами на днях видел! В красках!

– И как впечатления?

Владимир Михайлович сник:

– Впечатления... Глазам своим едва поверил, Саша, когда увидел. Люди размещены в бараках, наскоро состряпанных из жердей. Теснота невероятная! Полов нет! С наступлением тепла земля в бараках оттаёт, сверху потечет, и население их слипнется в грязный, заживо гниющий комок! По Архангельскому округу из восьми тысяч детей заболело шесть тысяч, умерло около шестиста. Мрут, в основном, младшие возраста... Дров и досок нет – все идет на экспорт... С продовольствием из рук вон плохо, если не забросить его немедленно – будет голод, причем как среди ссыльных, так и среди колхозников...

– Будет не просто голод, Володя, будет мор. Такой же, как в двадцатых, если не хуже. И будет он рукотворным! И мы знаем, чьими руками он устраивается! И своими ручонками помогаем ему...

– Я таких мер не поддерживаю.

– Что же, ты отработал наверх о том, что увидел?

– Саша, ты в своём уме? Если я пикну хоть слово, меня сразу обвинят в либерализме или правом уклоне, и тогда уж мне самому кору жрать придётся! Тебя, правдолюбца, это тоже касается!

– Касается, Володя... Может, поэтому у меня все эти живые мертвецы мальчиками кровавыми в глазах стоят. Стоят и спрашивают: «Кто вас просил строить ваш чёртов земной рай?» Ты сейчас про детей сказал. Умерших и больных... Ты, когда глядел на них, Саша, о Ниночке с Зоей не подумал? Их на месте тех детей не представил?

– Замолчи, Саша! – Толмачёв побагровел. – И Ниночки с Зоей не трожь! Я, если хочешь, только из-за них, только для них молчу...

– Думаешь, поможет? – спросил Замётов. – Я, вот, тоже молчу... И другие... А почему, собственно, мы все думаем, что если будем подличать, то молох пощадит нас? Ведь он ненасытен.

– А что ты предлагаешь, Саша? Давай, покажи пример. Выйди из партии, напиши письмо сам знаешь, куда.

– Самодонос никому не принесёт пользы.

– А как же совет? – саркастически усмехнулся Толмачёв. – Очистишь её.

Замётов промолчал.

– Пока я нарком, я, не выступая открыто, что бесполезно, как ты сам заметил, постараюсь, чем возможно, облегчить участь спецпереселенцев. Ты, как я понимаю, пришёл хлопотать о своих родственниках. Тут я помочь не могу. Пошли им денег, еды, тёплые вещи... В конце концов, можешь взять к себе их детей, если не боишься.

Эти слова Александра Порфирьевича задели. В самом деле, его справедливого негодования и сострадания не достало бы даже на то, чтобы приютить «кулацких детей». Такое милосердие карается по всей строгости. И в чём тогда укорять других?..

– Их детей уже нет, Володя. Мы их убили...

– Не мы! – вскипел Толмачёв.

– Нет, мы. Своей трусостью и молчанием убили. А того прежде – тем, что учинили великую стройку нового мира. Может, мы и построим его, этот мир. Но... каким же страшным он будет! И кто будет жить в нём?

Толмачёв тяжело вздохнул:

– Я всё понимаю, Саша. Но сделать ничего не могу. Скажу тебе больше, я навряд ли долго засижусь в наркомах. Не ко двору я им. Копают под меня. Ходят слухи, что должность наркома внутренних дел упразднят вовсе.

– А кому же тогда уголовники достанутся? – недоумённо спросил Замётов.

– Почём мне знать? – развёл руками Владимир Михайлович. – Может, ОГПУ расширят... Будут они и уголовщиной, и коммунальным хозяйством и всем вообще в нашем государстве заниматься.

– Да и так уж...

– И так... Рудольфыч<sup>4</sup> болезный с постели не встаёт, так за него Ягода полноправным шефом распоряжается. А этот сейчас на взлёте. Он-то знал, на какую лошадку ставить, не промахнулся. Он-то для хозяина всё сделает. Хоть сапоги вылизет, хоть что...

Слегка опьянев, Толмачёв стал говорить злее и резче, благо дверь кабинета была плотно закрыта, и никто не мог слышать его откровений.

– А ты всё-таки, Саша, лучше помалкивай, – продолжал Владимир Михайлович. – Ты и так в числе надёжных не числишься. А сейчас сам знаешь как. Помнишь Шахтинское дело? То-то ж! А теперь ещё одних заговорщиков сыскали... Гляди, Саша! Лёгкий уклон, и так увязнешь, что никто тебя не вытянет.

Замётов поднялся, поскрёб лысеющий череп:

– Ладно, Володя, не взыщи, что потревожил. Сам не знаю, какой чёрт дёрнул прийти к тебе. Что-то, понимаешь, грызёт внутри, точит. Должно быть, совесть...

– Знакомый зверь, – усмехнулся Толмачёв. – Только не слишком лелей его. Не то задушит, как удав.

Домой Александр Порфирьевич возвращался с трепетом. Никогда ещё с такой робостью не переступал он своего порога, до того, что холодный пот проступил на лбу. Ему до отчаяния, до безумия хотелось, чтобы жена оказалась дома. И тогда он убедил бы себя, что она, действительно, была у Нади, и справился бы о здоровье последней, и, выслушав, отдал бы письмо, и после непремных над ним рыданий пообещал бы ей, что найдёт способ хоть как-то облегчить участь её родных, обнял бы её, утешая, и простил бы все новые свои муки. И она бы поблагодарила его за поддержку и заботу взглядом, лаской... Так и привиделась эта картина, и задрожало, затомилось сердце в надежде. И упало, когда глазам предстала тёмная комната и пустая, аккуратно застеленная кровать...

## Глава 12. Сон наяву

Она не солгала, когда сказала, что едет к Наде, и в том, что та нездорова – не погрешила против истины. Она умолчала только лишь о том, что навестить больную подругу отправилась не одна.

С того момента, как Аглая увидела Родиона в трамвае, жизнь её перевернулась. Всё отошло в ней на второй план или растворилось вовсе. В тот день она не могла думать ни о чём больше и лишь твердила оставленный адрес. Насилу сдерживая смятение в присутствии Нюточки, она наказала ей передать отчиму ложь про срочный отъезд к отцу и бросилась навстречу судьбе, страшась лишь одного: не застать его по названному адресу, потерять вновь...

Прошедшие годы изменили Родиона. Исчез в их равнодушной пучине юноша-офицер, а остался суровый, закалённый беспощадной жизнью человек. Черты лица его обострились, лоб рассекла, точно шрамом, глубокая морщина. Прежде гладко выбритое, с аккуратной полоской едва опущенных усов, теперь оно было обрамлено седеющей бородой, и по-мужичьи свободно спадали русые волосы. Княжич древнерусский из ханского плена в выжженную вотчину вернувшийся – вот, кто предстал перед Алей. Княжич, бездонную чашу страданий испивший, но не сломленный, не поклонившийся хану и гордо держащий голову. А в глазах – затаённая мука и вопрос, и недоверие, и... гордость... Под ноги его ковром выстелиться, руки его целовать – одно стремление жило в Аглаиной душе. И страх, что не простит, что прогонит прочь. Но он – простил...

В ту ночь ей ненадолго почудилось, что жизнь началась сызнова, что всё бывшее, страшное, кануло, и она, словно наново родившаяся вступает в только что пробудившуюся зарю. А утром, очнувшись, вспомнила изверга и... прокляла его, прокляла, с болью и отчаянием подумав, что все эти годы могли быть у неё такими, как прошедшая ночь, что не было бы в них ни грязи, ни стыда, что могла она просто любить и быть любимой. От этой мысли хотелось заплакать, по-детски жалобно и безутешно.

Когда же напоминание о муже сорвалось с уст Родиона, Аглая почувствовала, что ненавидит Замётова, ненавидит ничуть не меньше, чем много лет назад, когда причинённое им было ещё свежо. Окажись сейчас этот человек на пути её обретаемого счастья, и она бы, пожалуй, убила его...

В то утро она рассказала Родиону о дочери, оглушила, потрясла его. Некоторое время он рассматривал фотографию Нюточки:

– Я оставлю её у себя, можно?

– Конечно. Если б ты знал, сколько раз я себе представляла, как ты вернёшься, как я скажу тебе о ней... В самые чёрные часы представляла, и это давало силы жить дальше.

– Она знает обо мне?

– Она считает, что её отец погиб...

– А тебя она считает матерью?

– Прости меня, Родя. Но я так мечтала, чтобы она была нашей с тобой дочерью.

– Тебе не за что просить прощенья, ты ведь спасла ей жизнь, выкормила, вырастила её...

Но как же мы будем жить теперь?

– Я... не знаю, Родя... – тихо ответила Аглая.

– Мы должны быть вместе, втроём. Ты, я и Аня. Мы уже искалечили половину нашей жизни, и я не хочу, чтобы также искалечена была оставшаяся.

– Ты знаешь, я сделаю всё, что ты скажешь. А быть нам втроём – это такое великое счастье, что мне трудно поверить в его возможность.

– Мы уедем, – решительно сказал Родион.

– Куда?

– Сперва в Финляндию, Бессарабию или Польшу, а затем.... А затем, Аля, перед нами будет весь мир! В Европе мы, конечно, не останемся. Но есть ещё Канада, Штаты, Мексика... Австралия, наконец! Мой отец в юные годы пытался привить мне вкус к хозяйству, к работе на земле. Думаю, я не совсем безнадежен, и при желании смог бы стать приличным фермером. У нас был бы свой дом, земля... Конечно, пришлось бы работать в поте лица, но нам ли бояться труда? Зато никто бы больше не разлучил нас, и не надо было бы бояться стука в дверь, чужого взгляда... стен. Аля, соглашайся! Если ты согласна, я найду способ выбраться нам всем! Клянусь тебе!

Он говорил так страстно и убежденно, что Аглая, упоенная нарисованной им мечтой, порывисто прильнула к нему, зарываясь пальцами в его мягкие локоны, одним дыханием ответила:

– Да! Да! Я поеду за тобой, куда ты захочешь! Только береги себя, только будь осторожен!

– Не волнуйся за меня, я ведь заговоренный, – улыбнулся Родион, и от этой улыбки лицо его словно помолодело, разгладилось.

Поле двух дней бесконечного счастья Аля принуждена была вернуться домой. Муж встретил её в прихожей, помог раздеться, осведомился о делах отца. Аглая готова была до крови искушать губы. Вид этого человека, его голос причиняли ей нестерпимую боль. Боль эта рождена была одновременно ненавистью, жалостью и стыдом. Она ненавидела Замётова и в то же время жалела его, только-только поверившему в возможность обычной семейной жизни, и стыдилась перед ним за свою ложь. Вспомнилось, скольким обязана была Замётову её семья. Вспомнились наставления отца Сергея – нести свой крест до конца, быть с этим человеком и тянуть его за собой. Вспомнилось и то, как Замётов, вняв словам батюшки, щадил её, укрощая собственную страсть. И то, как сама же совсем недавно простила его... За это прощение также было стыдно. Как могла простить? Как могла по собственной воле, без принуждения дарить ему ласки? Вот уж подлость так подлость... Перед собой, перед Родионом. Но тут же память всколыхнуло венчание. Ведь сама настояла под венец идти... И, вот, теперь венчанная жена венчанному мужу изменяет. Молнией пронеслось в уме, лишая сил: «Грех!» И при слове этом, как наяву, стал перед глазами отец Сергей с пламенным, обличающим взглядом.

Однако, никакой стыд, никакой голос совести уже ничего не мог изменить. С тех дней Аля всецело принадлежала Родиону, и всё прочее не имело значения. В своих мечтах и снах она уже видела себя вместе с ним и Нюточкой за вечерним чаем в маленьком уютном доме, в далёкой стране, грезила, как устроит всё в новом жилище, как будет заботиться о Родионе, возмещая ему все те муки, что пришлось ему вынести.

Нужно было подготовить Нюточку, но Аглая не решалась, выжидая подходящего момента. Между тем, Родион готовил всё для предстоящего побега. Откуда-то были добыты паспорта, намечен путь. Чтобы не нуждаться в средствах, Аля тайком от Замётова продала кое-что из подаренных им драгоценностей. Её всё более тяготило пребывание дома, невысказанное подозрение в глазах мужа, необходимость изворачиваться и лгать.

Поездка к Наде была в таких условиях, как глоток свежего воздуха. Оказалось, что Родион хорошо знал её отца, долгое время жил у него в эмиграции и с ним, последним, простился, возвращаясь в Россию. Таким образом, встреча эта стала поводом для многих воспоминаний и расспросов.

– Тесен мир, – качал головой Родион. – Мог ли я предположить, что дочь моего друга, столько раз при мне читавшего её письма, живёт бок о бок с женщиной, которую я уже не чаял обрести вновь!

Надя печально улыбнулась:

– Вы правы, мир очень тесен. И я рада этому, потому что могу узнать об отце не из скурых писем, перлюстрируемых ГПУ, а от близкого ему человека.

– Он очень скучает по вам, Надежда Петровна, и очень за вас переживает.

– Я тоже скучаю по нему. Но что же сделать... – Надя кашлянула и зябко укуталась в тёплую шаль.

– Почему вы не едете к нему? Ведь даже сейчас ещё не поздно! Пётр Сергеевич нашёл бы деньги, чтобы заплатить этим негодьям большевикам выкуп за вас. Что вас удерживает здесь?

– Наверное, то же, что заставило вас сюда вернуться, – негромко отозвалась Надя, помещивая ложечкой варенье в чае. – Память... И тени тех, кого мы любили... Мёртвые иногда встают из гробов – вы нам явили такое чудо.

– Вы всё ещё верите, что ваш муж жив?

– Нет... Уже нет... Но это ничего не меняет.

– Почему же? – недоумевал Родион. – Какое будущее вас ждёт здесь? Ведь вам не дадут жить, вас затопчут.

– Я знаю. Но есть Петруша. И он не хочет уезжать из России. И у него на то есть причины, – Надя бегло взглянула на Аглаю и перевела разговор: – Что Нюточка? Не собирается ли к нам в гости? Петя очень скучает по ней.

– Я, с вашего позволения, отлучусь покурить, – тактично сказал Родион, почувствовав, что женщинам нужно поговорить наедине.

Когда он ушёл, Надя снова закашлялась. Она заметно похудела, и впалые щёки её то и дело окрашивал лихорадочный румянец.

– Что с тобой? Ты выглядишь совершенно больной, – спросила Аля.

– Ты ведь и так уже всё поняла, – Надя зябко подёрнула плечами.

– Ты работаешь?

– Да.

– Где?

– Прачкой на соседней улице.

Только сейчас Аглая обратила внимание на красные, потрескавшиеся руки подруги.

– Ты сошла с ума! С твоими лёгкими!

Надя бледно улыбнулась:

– Больше никуда не взяли, что же делать?

– Это самоубийство! Тебе необходимо срочно уйти оттуда и лечиться! Тебе нужно поехать на юг... Или написать отцу, чтобы он помог вам выехать к нему. Ведь ты погибнешь!

– Полно, Аля, – Надя махнула худой рукой. – Чему быть, того не миновать. Мне бы только ещё несколько лет продержаться, пока Петя повзрослеет... Ведь без меня он останется совсем один. У нас никого нет. Миша в ссылке, а ты... Ты твёрдо решила бежать?

– Да, решила, – ответила Аглая. – Осуждаешь меня?

– За что?

– Сама знаешь, за что... Я ведь от венчанного мужа бежать собралась.

– Никогда нельзя судить чужое сердце, – ответила Надя. – А, если по правде, то я завидую тебе. Сотни раз я представляла себе, как вернётся мой Алёша. Как постучит в дверь или в окно... Бывает, ветер разгуляется, стучит ветвями в стекло, а мне чудится – он стучит, зовёт меня. Брошусь на улицу, а там только мрак ночной. Так больно... Всё думала, вернётся он, никуда больше не отпущу, только лелеять стану.

– Так может... – робко начала Аля.

– Не может. Тут невдалеке бабка одна живёт. Юродиха. Прозорливая, говорят. Так, вот, я с благословения батюшки, ходила к ней.

– И она тебе сказала?..

Надя не ответила, только голову опустила. После паузы сказала:

– Дело одно важное осталось, на душе камнем лежит. Слово человеку дала – сдержаться надо.

– Какое же слово? Кому?

– Мишеньке. Обещала я ему, что если батюшка благословит, обвенчаться с ним, чтобы он мог принять священнический сан. Я, может статься, и впрямь умру скоро, так пусть его судьба хотя бы разрешится. Сколько уж он промаялся с нами – никогда не рассчитаться мне за его доброту...

– Но ведь это же так далеко! – сплеснула руками Аля.

– Далеко, верно. Но ты отговаривать меня не старайся, я уж решила всё. Об одном прошу, для того и приехать просила: если что со мной, Петрушу моего не оставь. К хорошим людям устрой или с собой возьми... Мальчик он крепкий, смышлённый – обузой не станет никому. Только чтобы в приют не попал он! – Надя заметно разволновалась. – Я больше всего этого боюсь! Этого не допусти!

– Не допущу, обещаю тебе! – торопливо заверила Аглая. – Ты не волнуйся только и побереги себя. Я лекарств тебе из Москвы привезу, с доктором поговорю. Тебе ещё жить нужно! Ради Петруши.

– Бог милостив, – вздохнула Надя. – Может, и поживу... А вам с Родионом Николаевичем я счастья желаю. Такого, как желала себе с Алёшей... Он мне чем-то отца напомнил. Та же офицерская косточка, белая... Алёша совсем другой был.

Неожиданный отъезд подруги дал Аглае законный повод, чтобы на продолжительное время перебраться в Серпухов. Рискованная Надина затея сильно тревожила её, и одно лишь успокаивало: не одна отправилась она, а с батюшкой, решившимся помочь ей.

Наконец, пришла радостная телеграмма: возвращалась Надя домой. А накануне её возвращения Родя, всё это время отлучавшийся по делам, счастливо объявил, что для побега всё готово.

И радостна эта долгожданная весть была, и оробела Аля. Пробирается через границу – большая опасность... К тому же с девочкой... Но и отмахнулась тотчас от сомнений: волков бояться – в лес не ходить. Всего-то и надо кордоны по тропам контрабандистским обогнуть – и новая жизнь откроется! И в ней уже никто не разлучит, за все скорби былые новая жизнь утешит.

До глубокой ночи мечтали они о том, какова будет новая жизнь. Говорили полушёпотом, чтобы не разбудить спящего за ширмой Петрушу, которому Родиона Николаевича представили лишь как друга и соратника дедушки, который пришёл к тётке Аглае в поисках Нади и был ею доставлен к ней. Смышлённый мальчик, правда, явно что-то подозревал, но помалкивал. Днём он пропадал сперва в школе, затем гулял где-то в отдалённых местах, сопровождаемый верным псом, которого он подобрал пару лет назад щенком. В это время Аля и Родион могли чувствовать себя относительно свободно, а по возвращении мальчика нужно было следовать легенде.

– Когда ты скажешь дочери обо мне? – спросил Родя.

– Завтра, – откликнулась Аглая, ласково касаясь губами его уха. – Завтра приедет Надя, мы вернёмся в Москву, и я поговорю с Аней. В крайнем случае, если будет очень поздно, поговорю утром послезавтра. Как раз его не будет дома...

– А потом? – с волнением спросил Родион.

– Потом мы соберём вещи и приедем к тебе.

– А на следующий день мы убежим! – Родион крепко обнял Алю. – Мне даже не верится, что всё это будет так скоро, что осталось ждать всего ничего. Клянусь тебе, мы перейдём эту границу! Я бежал с Соловков, я сумел пробраться в Триэссерия... И снова вырваться из неё я смогу! Потому что теперь я сильнее втрое! Прежде у меня не было никого, а теперь есть вы, ты и Аня, и я чувствую себя способным свернуть горы!

– Да-да, всё так и будет! – прошептала Аглая. Голова её кружилась от нахлынувших чувств. Всею душой своей она была уже не здесь, а на далёкой границе, и далее – в маленьком, тихом доме, в котором её домовитыми руками будет создан неповторимый уют.

– Я буду работать в поле, вспомню, чему учил меня отец, – говорил Родион. – Мы заведём лошадь, корову... Станем простыми сельскими жителями и будем учиться простоте. Нет ничего лучше простоты... Простой пищи, простой одежды, простых отношений. В последнее время я чувствую живую тягу к земле, к природе. В природе всё естественно, всё просто и всё прекрасно. Вот так и будем мы жить. Работать, питаться плодами своих рук, по вечерам... – он чуть усмехнулся, – читать длинные старые романы. Ты знаешь, в детстве я читал много замечательных романов и, пусть это смешно, но я с удовольствием перечёл бы их теперь снова. Я стану читать тебе вслух, а ты будешь отдыхать или заниматься шитьём. Мирная, патриархальная жизнь. Почему люди беснуются и отказываются от неё? Разве придумало человечество нечто лучшее? В молодости я, впрочем, ответил бы на это вопрос утвердительно. Путешествия! Приключения! Но сейчас, когда на мою долю приключений достало, я понял цену осмеянного и охаянного несчастными дураками простого человеческого счастья. И оно будет у нас, потому что мы его заслужили.

– Ты его заслужил, – отозвалась Аглая. – Не я, ты.

На другой день, встретив усталую, но ободрённую сделанным Надю, они отбыли в Москву.

– Завтра мы уже будем вместе, – сказала Аля на прощание, и Родион поцеловал её и долго не выпускал из объятий.

– Завтра начнётся новая жизнь... Наша жизнь...

– До завтра же!

– До завтра!

Как на крыльях летела Аглая домой, мысленно решая, как и что будет говорить Нюточке, и какие вещи необходимо взять с собой, а какие можно и нужно оставить. С девичьей лёгкостью она взбежала по лестнице, вошла в квартиру и лишь успела заметить странный беспорядок, как навстречу ей выбежала заплаканная Нюточка:

– Мама, мамочка! Наконец-то ты приехала!

– Что случилось? – испуганно воскликнула Аля, обнимая дочь. – Что?

– Дядю Саню забрали! – сквозь слёзы, запинаясь, ответила девочка.

Что-то оборвалось внутри, покатилося вниз, ударило в ноги, сделав их ватными. Борясь с темнотой в глазах, Аглая медленно переступила порог комнаты Замётова: в ней всё было перевернуто вверх дном. Аля бессильно опустилась на диван, усадила дочь рядом:

– Успокойся, милая, я с тобой. Расскажи, когда, как это случилось?

– Ночью. Они пришли, разбудили нас, всё перевернули. Даже в моих вещах рылись! А потом забрали дядю Саню и ушли.

– А что же дядя Саня?

– Всё время, пока они здесь были, он сидел на этом диване и молчал. Я бросилась к нему. Он успел сказать мне, чтобы я не плакала, и незаметно сунул мне в руку скомканное письмо...

– Письмо? Какое письмо?

Нюточка достала из кармана смятый листок, исписанный неровным Любашиным почерком. Аглая быстро пробежала глазами по строкам и покачнулась:

– Ты... читала это письмо?

Девочка кивнула.

– Ты знаешь, когда оно пришло?

– В день твоего отъезда к тёте Наде. Когда дядя Саня прочёл, на нём лица не было. Он долго бродил по комнате, потом уехал куда-то, вернулся лишь под утро. Он все эти дни почти не спал, сам не свой был. Мне так жалко его было... Я подходила несколько раз, а он отвечал

что-то невпопад, меня не слушал. А два дня назад вдруг обнял меня и сказал: «Меня, Аня, скоро арестуют. Так ты молись за меня. Молись... И добром вспоминай. Я тебя всегда, как родную дочь, любил. Помни!» Так он это страшно сказал, и так горько...

– Больше он ничего не говорил? – спросила Аглая, мучаясь, словно её жарили на медленном огне. – Мне ничего не передавал?

– Передавал... Когда уже уводили его, а меня к нему не пускали, крикнул: «Передай маме, что я её люблю и за всё прощаю! Пусть будет счастлива!»

Аглая хрипло застонала и, согнувшись, закачалась из стороны в сторону.

– Завтра... Завтра... – прошептала она. – Никогда не наступит теперь это «завтра»!

Разлетались в очередной раз вдребезги разбитые злой насмешницей-судьбой грёзы. Не быть побегу, не быть, по крайней мере, до той поры, пока Замётов в тюрьме из-за неё, из-за её сестры и отца. Слишком взлетела она в наивных мечтаниях, слишком забылась... Новая жизнь! Где она? Нет, матушка, изволь корчиться и мыкаться в старой – единственной отведённой тебе. Сон кончился, и беспощадная явь, вломившись в него с бесцеремонностью громилы, заступила на своё ненадолго покинутое место.

## Глава 13. Литератор Дир

Утро Константина Кирилловича Дира всегда было поздним. Так повелось ещё с той поры, когда он, молодой беззаботный поэт, коротал «ночи безумные» в ресторациях и не самых приличных заведениях, в революционных гостиных за спорами или в неревлюционных – за картами.

Облачившись в халат и заботливо пригладив щёткой густые седеющие волосы и пышные усы, он отпил чашку ароматного кофе, выкурил дорогую сигару и, лениво расположившись у окна, стал перелистывать пришедшую почту. Секретарша Зиночка взяла недельный отпуск, и приходилось заниматься письмами самому. Сверху лежало благодарственное письмо от школьников, перед которыми он выступал накануне. Константин Кириллович прочёл его и, довольно усмехнувшись в усы, отложил в отдельную пухлую папку, в которую заботливо складывал все получаемые благодарности с целью когда-нибудь издать их все постскриптумом к собственному собранию сочинений.

Дир любил выступать перед детьми. Несколько лет назад среди бумаг арестованного приятеля-фольклориста ему повезло найти собрание легенд и сказок различных народов. Константин Кириллович, не задумываясь, идеологически переработал и художественно стилизовал их, после чего представил, как собственные сочинения. Книга имела успех, и с той поры Дира регулярно приглашали на встречи с детьми, которым он говорил заранее отрепетированные с Ривочкой речи о том, каким должен быть настоящий советский школьник-пионер. Поначалу приходилось маленько попотеть, когда юные слушатели начинали задавать вопросы, но и тут навострился, вошёл во вкус.

– Скажите, Константин Кириллович, какое качество вы больше всех цените в людях? – спрашивает робеющая пионерка с заалевшими, как галстучек на тонкой шейке, щёчками.

– Честность! – сразу отвечает Дир. – Мы всегда должны быть честны! Перед партией, перед родителями, перед товарищами. Мы должны быть честны в деле, которому служим, отвечать за него. Я, к примеру, берясь писать о чём-либо, перво-наперво обращаюсь к себе, спрашиваю себя, верно ли то, что собираюсь я сказать моему читателю? Ведь я должен отвечать перед ним за каждое своё слово! И лишь испытав себя, берусь за перо.

Продолжительные овации всецело одобряют писательскую честность...

– А кроме честности?

– Доброту. Вы знаете, как бы ни тяжела, ни страшна была борьба, мы должны быть добры. Ведь мы живём для того, чтобы сеять добро по всему миру, освобождая угнетённых братьев от капиталистического ига. Мы должны помогать нуждающимся в помощи товарищам, заботиться о других. К этому зовут нас идеалы гуманизма.

Благодарности, цветы, фотографии на память...

В это утро писем немного пришло, и Константин Кириллович проворно разобрал их, пока не отпечатал маленького мятого конверта, в котором обнаружился исписанный детским почерком листок бумаги:

«Дарагой писатель Дир! Я читала ваши книги и знаю, что вы человек добрый и честный, жалеете дитей и многим памагаете. У нас забрали маму и папу. Мы остались с бабушкой, которая балеет. Денег у нас нет хлеба нет одежды пойти в школу тоже нет. Наши мама и папа ни в чём не виноваты. Они хорошие как вы. Мы не знаем что с ними и за что их у нас забрали. Дарагой писатель Дир! Мы живём в сыром бараке без света. Младшие сильно кашляют. Если мама с папой не вернутся мы не переживём эту зиму. Умрём от холода и голода. Дарагой писатель Дир! Абрашаюсь к вам в надежде что вы не останитесь глухи к слезам сирот. Помагите!..»

Константин Кириллович не стал дочитывать письма до конца и с брезгливой grimасой скомкал его и бросил в корзину. Вздохнуть нельзя стало от этих попрошайек...

Приближалось обеденное время, и, сменив халат на манишку и шлафрок, Дир прошёл в гостиную, попутно придирчиво обозрев своё отражение в зеркале. Светский лев остаётся им во всяком возрасте. И в свои лета Константин Кириллович не утратил породистую осанистость, скульптурную красоту высоко поднятой головы. Расставшись с фамилией Аскольдов, он, тем не менее, ни секунды не скрывал своего дворянства и даже бравировал им, чувствуя себя за счёт него неизмеримо выше набившихся в литературу плебеев.

Константин Кириллович не любил обедать в одиночестве. Вкусная и обильная трапеза непременно должна была разделяться хотя бы несколькими гостями. Сам Дир не мог теперь вполне отдавать должное подаваемым на его стол яствам по причине предписанной врачами строгой диеты, но традиции это обстоятельство не меняло.

Гостей в этот день набралось пятеро: «молодые дарования» Коля Савкин и Федя Колосов, критик Горинштейн, популярный сатирик Любавин и поэт Жиганов.

Коля Савкин был вхож в дировский дом давно. Юноша из полуинтеллигентской-полумещанской семейки, он был начисто лишён литературных способностей, зато имел самый полезный талант: преданно смотреть в глаза, заискивающе улыбаться, робко прыскать в кулачок, когда надо, и никогда не обременять себя каверзными вопросами морали и принципов. Одним словом, Коля умел нравиться людям. Особенно, пожившим, достигшим положения, падким на лесть. А особеннее особенного, пожившим дамам... Среди московских критикесс балзаковского возраста мало сыскалось бы таких, кто не имел бы с Колей в тот или иной момент самой тесной дружбы.

Дир не был глуп и отлично знал цену савкинских восторженно преданных взглядов, лакейского нутра Коли. Но и его самолюбие тешил этот болванчик, готовый молча внимать любой ерунде с восхищённо выпученными глазами. Поэтому, глубоко презирая Колю, он приглашал его на обед и на чай в качестве штатного шута.

Федя был приятелем Коли. Они вместе учились на литературных курсах. Рабфаковец Федя не имел савкинских талантов. Время от времени он выдавал какие-нибудь чугунные «стихи» для газет, а по большей части шатался без дела.

Марк Аркадьевич Горинштейн входил в число самых маститых критиков Москвы и в последние годы подвизался на исследовании творчества выдающегося советского писателя Дири. Пожалуй, объём написанных им на сей предмет статей, мог в скором времени потягаться с объёмом сочинений самого Дири.

Бойкий и пронырливый еврейчик Любавин, чьей настоящей фамилии не знал никто, прославился тем, что написал сатирический роман. Роман был хорош. Вот, только объектами беспощадных насмешек «нового Гоголя и Щедрина» стали не современные городничие и чиновники, а затравленные и безответные бывшие люди: попы, нэпманы, дворяне, кулаки... Впрочем, это была родовая черта советской сатиры: она точно знала, над кем позволено смеяться, поэтому ничто иное как фельетон нередко становился первой ласточкой, первым толчком к началу чьей-либо травли, чёрной меткой. Любавин, несмотря на молодость, таких фельетонов написал уже немало.

Поэта Жиганова, хмурого и заметно пьющего крестьянского детину, Дир знал мало и был не слишком доволен его визиту, предчувствуя, что тот может наскандалить.

Обозрев своё обеденное общество, Константин Кириллович не без ностальгии подумал о том, что когда-то за этим столом собирались представители лучших фамилий, а теперь... Савкины и прочие стрикулисты.

А Коля был уже тут как тут: угодливо пододвигал стульчики Константину Кирилловичу и Риве Исааковне, одновременно заглядывая в глаза, сыпля комплиментами и осведомляясь о здравии. Так и скакал бойким кузнечиком на тоненьких ножках своих, и, казалось, вот-вот

припадёт в избытке чувств к руке. А ведь этакий кузнечик, погляди, годков через пяток матёрой саранчой вырастет – пожалуй, лучше ухо остро с ним держать. А лицо преглупейшее! Коленка, а не лицо! Только гляделки на ней пустые хлопают. Зато как смотрит! Кусочка съест некогда, всем корпусом вперёд подался – того гляди утеряет баланс и на пол завалится.

– Что роман ваш, Константин Кириллович, продвигается? – осведомился Горинштейн, с достоинством отправляя в рот аппетитный ломоть ветчины.

– Продвигается помаленьку, – отозвался Дир. – Хочется мне, братцы, развернуть в нём простор русский! Такой, каким был он, и каким теперь, на наших глазах становится, перепанханный в простор социалистический!

– Гениально, Константин Кириллович! Конгениально! – взвизгнул Коля, прихлопнув в ладоши. – Вы величайший писатель! Выше Горького! Выше Алексея Николаевича!

– Да Алёшка-то... – фыркнул презрительно Дир. – Бездарь, охвостье графское...

Жиганов чему-то недобро усмехнулся.

– Чему это вы усмежаетесь, Иван Егорович? Что вам показалось смешным в моих словах? – осведомился Константин Кириллович, пригубляя сухое вино из высокого старинного бокала. Эти бокалы за ничтожную сумму в Девятнадцатом он купил у одной обнищавшей княгини. Ставить их для гостей было слишком большой честью, поэтому Дир ставил лишь два бокала – для себя и Лии.

– А то, что не развернёте вы никакого простора, – спокойно ответил Жиганов, не отвлекаясь от трапезы.

– Почему?

Жиганов желчно оскалил зубы в очередной усмешке:

– А потому, что вы же сами говорите: писатель отвечает за своё слово и должен быть честен.

– Я вас не понимаю! – заёрзал Дир, подумав, что предчувствие его явно не обмануло.

– А, по-моему, яснее ясного. Вон, и друзья ваши поняли всё.

– Лично я не понял ваших намёков, извольте объяснить! – высунулся Коля.

– А чего тут объяснять? Ежели товарищ Дир взаправду опишет, что на русском просторе было, а что стало, так его из этих хором напрямик к зырянам отправят. Напишет он такую правду? Не напишет! Чего ж тогда будет? Брехня и боле ничего. А для брехни сказки есть. Оно лучшее! – Жиганов назидательно поднял вилку.

– Позвольте, вы всё-таки находитесь у меня в доме, – заметил, побледнев от гнева, Константин Кириллович. – И, вообще, за такие речи...

– Честь советского писателя требует от вас срочно написать на меня донос и призвать запретить дышать, как инженерам? – осклабился Жиганов. Только тут Дир заметил, что он вовсе не слегка навеселе, а сильно пьян. Есть такого рода пьяницы, что и, изрядно захмелев, вполне твёрдо стоят на ногах и внятно изъясняют свои мысли, вот, только язык их в такие моменты обретает опасную свободу...

– Послушай, Ваня, ты выпил и мелешь почём зря, – ласково сказал Любавин. – Побереги лучше свой талант и очень прошу, закусывай! – с этими словами он пододвинул пожавшему плечами Жиганову блюдо с фаршированной щукой и перевёл разговор на другую тему: – А я, товарищи, собираюсь писать фельетон о вреде синематографа для юных душ!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.